



ЛЮБЕН
СТАНЕВ

ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ МОСТ

Любен Станев
ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ МОСТ

Любен Станев

ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ МОСТ

Роман

София Пресс 1982

Перевод с болгарского
Олега Минина

1.

Дверь захлопнулась, ключ сухо щелкнул, и Димитров остался один. Он прислонился к стене и закрыл глаза. Да, это его камера! Не было необходимости осматриваться, чтобы понять это. Два часа назад он покинул ее с надеждой, что никогда уже не переступит этого порога. И вот снова возвратился сюда, словно ничего и не изменилось.

Он сел на узкую кровать и провел рукой по лицу. Чувствовал себя утомленным, измученным вконец, не было сил даже снять макинтош. Несколько секунд он сидел неподвижно, свесив руки между колен. Было тихо, как на дне глубокого каменного колодца. Пустота звенела в ушах, и от этого усиливалось ощущение полного, безграничного одиночества. Никогда еще за все долгие месяцы тюремного заключения ему не приходилось испытывать это чувство столь осязаемо... Он медленно поднял голову и огляделся. Улыбка дрогнула на губах. Рядом стоял старенький чемодан со слегка выпяченным боком, а возле стены лежали две пачки заботливо упакованных и перевязанных книг, — весь его багаж, — он собственноручно собрал его, зная, что будет оправдан.

Димитрову припомнилась пожарная скорость, с какой развивались события. Час назад их действительно оправдали за отсутствием доказательств вины. В эту подлую формулировку была вложена вся бессильная злоба фашистов. И не только в нее... Еще не затихли

шаги последнего из судей, торопливо покидавших зал, и он не успел обнять свою мать, как двое полицейских преградили ему дорогу и предложили проследовать вместе с товарищами в соседнюю комнату. Там, под портретом фюрера, строгий, нахмуренный чиновник прочел распоряжение лейпцигского полицай-президента о немедленном предварительном задержании их до очередного приказа согласно специальному декрету от февраля 1933 года. Димитров попытался было возразить, но чиновник кивнул головой, и полицейские их увели. На заднем дворе ждал крытый грузовичок, на котором вот уже три месяца их возили из тюрьмы в город. Они сели в машину и двинулись по сверкающим огнями рождественских елок улицам. А через полчаса остановились у широких ворот старой тюрьмы, и надзиратели развели их по камерам, словно ничего и не случилось.

Он снова посмотрел на чемодан, вспомнил, с каким усердием сегодня после обеда собирал свои вещи и как перед поездкой в суд помечтал даже о теплой комнате в гостинице, представил себя в окружении близких людей. Улыбка стала еще печальнее. Неужели он в самом деле поверил, что его освободят? Неужели надеялся, что после такого шумного процесса ему позволят покинуть скамью подсудимых и вместе с публикой оставить зал?.. Он почувствовал, как мурашки забегали по коже, и невольно протянул руку к батарее парового отопления. Как и следовало ожидать, и без того слабую подачу пара прекратили. Наверное, решили, что для человека, который не является подсудимым, незачем поддерживать предписанный медициной нижний предел температуры в семь градусов, при котором заключенные только мерзнут, но не болеют.

В груди закололо, и он зашелся резким, надсадным кашлем. Врачи явно ошибались насчет этого нижнего

предела — бронхит у него не проходил уже пятнадцать суток... „Разумеется, это едва ли помешало бы премьер-министру отправить нас еще до восхода солнца... на тот свет!“ — мелькнуло в голове, но мысль эта, какая-то тупая и безразличная, не отозвалась в сердце. „Я заболел!“ — подумал он, и в тот же миг перед глазами возникли истощенные, вытянутые лица Танева и Попова, по которым плясали отблески уличных фонарей... Они сидели как обычно: он — посередине, слева — Танев, справа — Попов. Напротив расположился полицейский, сопровождавший их в пути, и все было, как во время процесса, когда возвращались с заседаний суда. Все было так, и в то же время не так. Хотя они обменялись между собой несколькими фразами, тягостная неизвестность давила, порождая глухую тревогу. Когда фонари стали встречаться реже и машина запрыгала по неровной дороге, Танев не удержался и сказал с плохо прикрытым беспокойством:

— Не слишком ли рано мы выезжаем из города?

— Рано? — удивился Попов. — А я думаю, что достаточно помотались по улицам.

Он подождал, что скажет он, Димитров, но, не услышав ничего в ответ, продолжал:

— Нас везут не в тюрьму.

— А куда?

— Черт знает куда!

Попов беспокойно заерзал на скамейке.

— Думаешь, нас везут?..

Он не закончил. Вновь наступило молчание. Тогда Димитров нащупал в темноте их руки и сказал:

— Нас везут в тюрьму. Главные улицы объехали, наверное, потому, что там собрались люди.

Они с облегчением вздохнули, он это понял, почувствовав, как дрогнули их руки, и в тот же миг решил,

что не имеет права вводить их в заблуждение и поддерживать в них призрачные иллюзии.

— Не исключено, однако, что нас подымут ночью, — добавил он тихо и тотчас пожалел об этом.

Танев и Попов замерли, явно пораженные этими словами. До прибытия в тюрьму они не произнесли ни слова и лишь изредка вздыхали, как дети. А когда шли пустым коридором и шаги их тревожно зазвучали в ночной тишине, Танев приблизился к Димитрову и прошептал:

— Я рассчитываю на тебя, Георгий! Что бы ни случилось, мы должны быть вместе!..

„Не следовало их пугать! — думал он сейчас, сидя перед пустым столом, подперев голову руками. — Особенно теперь, когда я мало чем могу им помочь. Как странно я изменился за последнее время!“

Первые признаки этого необычного, незнакомого состояния обнаружились у него дней пять-шесть назад. В течение всего процесса он чувствовал себя собранным и бодрым, не мог заниматься ничем иным, кроме судебного дела. И вот после заключительного заседания он все чаще стал ловить себя на том, что в мыслях беспрестанно обращается к прошлому. Это были отрывочные, бессвязные, навевавшие легкую грусть воспоминания о неосуществленных мечтах, о людях, которые не сыграли сколько-нибудь существенной роли в его жизни, но оставили в сердце легкую тень тоски и сожаления. Он пытался бороться, но эти видения появлялись вновь и все более властно овладевали им, особенно по ночам, когда повышалась температура, — бронхит никак не проходил. Он старался гнать от себя ненужные воспоминания, но никак не мог освободиться от их обезоруживающего плена, который нес с собой запретную, но сладостную лень... В последнюю ночь он видел во сне Любу. Но, к своему удивлению, он не

испытал знакомой боли, смешанной с постоянно терзавшим его чувством раскаяния, боли, которую он испытывал каждый раз, когда в мыслях обращался к памяти покойной жены. Его охватывала совсем другая, тихая, спокойная печаль, словно он грустил о каком-то чужом человеке или же думал о чем-то случившемся очень давно.

Димитров передернул плечами. Холодные, голые стены камеры еще больше усилили чувство одиночества и тоски... Если бы на столе лежали книги, а перед ними ручка, пожалуй, все было бы по-иному. Ему захотелось раскрыть чемодан, достать кое-что из вещей, но он не нашел в себе сил встать... Вероятно, у каждого человека есть вполне определенный запас таких сил для сопротивления, для полемики. Это как резерв витаминов, которые поддерживают жизнедеятельность организма. Весной этот запас истощается, и тогда наступает усталость, апатия, безволие... „А, может, это не что иное, как реакция, вызванная перенапряжением, естественная разрядка организма, и все скоро пройдет“, — старался он внушить себе эту утешительную мысль, но она не проникала в глубину сознания, а лениво витала где-то около, как бывает во сне. Неожиданно ему подумалось, что даже смертельная угроза, вполне реально нависшая над ними, не может вывести его из состояния равнодушия. Он предельно ясно понимал, что если Геринг вздумает осуществить свое намерение, то ему не найти более подходящего момента, чем эта ночь. Димитров представил себе густой пограничный лес, куда их доставят под предлогом высылки из Германии, и неожиданный залп из темноты. Но как все прочие мысли в последнее время, эти, тоже, казалось, относились не к нему лично, а к другим, незнакомым людям, за которыми он словно наблюдал издалека...

„Я болен!“ — подумал он снова, бросая вялый взгляд по сторонам.

Вид камеры с ее невзрачной обстановкой настойчиво побуждал взять себя в руки. Он еще ниже склонил голову, уперся подбородком в грудь. Было тихо, вокруг не раздавалось ни звука, словно жизнь замерла навсегда.

И вдруг в бездонной пропасти этой гнетущей пустоты появилась точка опоры. Это был звук — частое и очень живое тиканье.

Димитров широко раскрыл глаза, словно впервые слышал подобный звук. Сунул пальцы в нагрудный карман жилетки и вынул круглые турецкие часы. Теперь их стук усилился, как бы стал чаще. Он снял часы с цепочки и положил на голый стол. Потом встал и, подойдя к кровати, лег, завернувшись в макинтош. Его бросало в жар, голова пылала, но, несмотря на это, он испытывал странное чувство, что уже не одинок в этой камере.

2.

Ночью он спал глубоким, мертвым сном, а когда проснулся, почувствовал себя не отдохнувшим, а истерзанным, словно всю ночь не смыкал глаз.

И все же вместе с дневным светом неприметно в сердце вливалась смутная бодрость. Он встал, поразмялся, распаковал чемодан и развязал книги. Ни о чем определенном он еще не думал, старался физической работой отвлечь себя от пока неясных, но полных тревоги мыслей. Он знал твердо одно — теперь необходимо вооружиться терпением, беречь силы для новых испытаний, возможно, более тяжелых, опасных и длительных, чем те, что позади. Он старался внушить себе эту мысль и в то же время в глубине души был уве-

рен, что не сможет преодолеть смертельную усталость и стать таким, как был неделю назад...

За дверью щелкнул засов, и в маленьком окошке показалось лицо молодого незнакомого надзирателя (старый видно, был в рождественском отпуске). Вместе с едой он принес какой-то тонкий, продолговатый пакет. Димитров посмотрел на сверток, сердце его сильно забилося. Это были газеты, советские газеты! В глаза бросилось название „Правда“. От бумаги распространялся едва уловимый запах типографской краски. Он прерывающимся голосом спросил надзирателя, кто передал этот пакет. Тот объяснил, что газеты принесли люди, назвавшиеся близкими, они просили о свидании, но им отказали.

Взволнованный и все еще не верящий своим глазам, Димитров схватил газеты. Он боролся за них месяцы, и теперь, когда, наконец, держал в руках, казалось, внезапно потерял способность радоваться... Скользнул быстрым взглядом по знакомым до боли буквам, прочел первые попавшиеся два-три коротких сообщения о переносе какой-то трамвайной остановки, о бенефисе известного московского артиста — и от неожиданности поднял брови. На видном месте был опубликован большой снимок судебного заседания, а над фотографией жирным шрифтом было набрано его имя. Он схватил другие газеты и принялся их разворачивать. Во всех трех номерах процессу уделялось большое внимание. Были помещены стенограмма допроса Димитрова, который вел Геринг, и вопросы, заданные ему Димитровым, острые пререкания с председателем суда. Напечатаны были также корреспонденция из-за рубежа, отклики на процесс, письма читателей.

Лоб Димитрова покрылся капельками пота. Он никак не допускал, что его позиция на суде могла

вызвать столь мощный отзвук среди широких народных масс, что печать даст такую высокую оценку его поведению на процессе. И вот сейчас он воочию убедился в этом, просматривая авторитетнейшую газету мира!

Весь день у него было приподнятое, праздничное настроение, ему хотелось поделиться своей радостью с близкими людьми. Но постепенно, с наступлением раннего зимнего вечера, когда сумерки начали сгущаться, его стало охватывать какое-то непонятное беспокойство. Сначала он не мог дать себе отчета в том, что же является источником этого чувства. Показалось странным и необъяснимым, что это состояние возникло у него в конце такого, поистине необыкновенного дня. Но вскоре он понял, в чем дело. Сегодня, когда он внимательно прочел советские газеты, перед ним во всей полноте раскрылось то значение, которое мировая общественность придавала Лейпцигскому процессу. Только теперь он получил реальное представление обо всем том, что совершил за прошедшие месяцы. И чем очевиднее становилось все это, тем невероятнее казалось, что он нашел в себе силы выдержать жесточайшую битву и выйти победителем. Перед ним все настойчивее вставал вопрос — была ли справедлива столь восторженная оценка его позиции и действий на суде? Не придавалось ли слишком большое значение защите, которую с наименьшим успехом могли бы провести на его месте многие другие? И не возникало ли при этом ложное, преувеличенное представление о его качествах и способностях?

Он пытался представить, как стал бы держаться, что говорил бы, если бы его выпустили из тюрьмы, и вновь ощутил чувство неуверенности. Конечно, все захотят увидеть его, полного неукротимой энергии, огня, что не раз бушевал в его речах на процессе. И едва ли кто подозревает, каким опустошенным он чувствует себя сейчас!.. Он вспомнил о пламенных атаках против про-

курора, председателя, свидетелей, и ему вдруг показалось, что то был вовсе не он, а кто-то другой, — таким далеким и нереальным выглядело все это теперь. Казалось, в камере сидит бесконечно усталый человек, стоящий на пороге старости, больной и опустошенный, потерявший своего самого близкого друга. Что мог принести такой человек людям, кроме своей печали и боли?

Ночь он провел тяжело. От лихорадки и температуры и без того нерадостные мысли превращались в сущий кошмар, не давали ему покоя. И среди этого хаоса мыслей и воспоминаний в его памяти вновь всплыли картины той сентябрьской ночи, когда он покидал Болгарию. Он видел огромный, кроваво-красный месяц, поднявшийся над ошестинившимися вершинами гор, слышал равномерный шум шагов повстанцев. Потом перед глазами появилась небольшая полянка, та самая, где их группа остановилась на отдых. Именно там он заявил, что не желает, не может перейти границу, что должен вернуться назад, к восставшим. На этом воспоминания о той ночи обрывались, он пытался восстановить в памяти события той ночи, лицо проводника, но каждый раз что-то мешало этому. Все новыми волнами, одно за другим, накатывались на него видения, возникали все новые и новые образы людей, сгоревших в огне Сентябрьского восстания, погибших в трагические апрельские ночи двадцать пятого года. И снова лицо старого крестьянина-проводника ускользало из памяти, как ни старался он его припомнить. И то ли от бесплодных попыток побороть бессилие памяти или потому, что в болезненных сновидениях все чаще ему виделась Люба, он начинал все отчетливее сознавать, что вся его жизнь представляла собой сплошную цепь ошибок и поражений, что он должен был совершить нечто очень важное, но так и не смог, и это

принесло страдания многим и многим людям. Всю ночь он тщетно старался постичь, чего же все-таки не сумел сделать, что так упорно, подобно чертам лица старого проводника, ускользает от него.

Утро застало его бледным, измученным.

Он попытался было встать, но не смог. Все тело болело: стоило пошевелиться под тонким одеялом, как начинала бить мелкая дрожь. Голова была тяжелая, в груди болело. Время от времени он поглядывал на стол — там лежали три советские газеты. Как хорошо все же, что они, эти газеты, рядом, в нескольких шагах, — думал он, когда мучительный озноб ослабевал.

Потом, когда он погрузился в дремоту, до его слуха неожиданно донесся далекий звон. В удивлении он открыл глаза и в тот же миг вспомнил, что сегодня рождество. Он слушал плавные торжественные звуки и вспоминал с какой-то светлой грустью о матери. Он знал, что она где-то близко, он видел ее — маленькую, но выносливую, с белыми как лунь волосами и глубокими, умными глазами, и постепенно на душе становилось легче, боль успокаивалась, в голове светлело.

А со стороны города все неся праздничный звон, отчетливый и мелодичный.

3.

Вольф Дикс уехал в Мюнхен, охваченный противоречивыми чувствами.

Он все же решил провести рождественские каникулы у родителей в Ганновере, хотя эта перспектива и не особенно его устраивала. Отец с годами становился все более раздражительным — после прихода Гитлера к власти он поносил всю его неотесанность и ефрейтор-

ские замашки. Дикс знал, что старик все время будет ворчать, выговаривая ему за то, что он „подставил спину этим обормотам“. И если все же Дикс собирался отправиться в Ганновер, то делал он это исключительно ради матери. Он любил ее горячо и скучал о ней с удивительной для его возраста и характера силой... И вот когда он принял окончательное решение, пришел приказ немедленно выехать в Мюнхен.

В первый момент Дикс был раздосадован. За всю свою почти пятнадцатилетнюю службу он не помнил случая, чтобы министр вызвал его в другой конец страны, причем накануне рождества. Если бы он не знал в достаточной степени Геринга, то мог бы с полным основанием подумать, что причиной такого невероятного приказа послужил по меньшей мере антиправительственный заговор. Но за десять месяцев совместной работы Дикс сумел достаточно хорошо изучить характер и психику своего шефа и мог держать пари, что Геринг приглашал его на свою виллу, где проводил рождественские каникулы, по совсем незначительному поводу — например, чтобы поделиться идеями о каких-то служебных перемещениях в тайной полиции, пришедших ему в голову во время охоты или же принятия солнечных ванн. Именно это вызвало в первый момент у Дикса раздражение и возмущение.

Однако вскоре он взглянул на вещи и с другой стороны. Таким бесцеремонным и на первый взгляд сумасбродным распоряжением Геринг вновь демонстрировал свое благорасположение к Диксу. Вольф понял, что со слоновьей деликатностью и тактом толстяк свидетельствовал ему не только свое полное доверие, но и личные симпатии. И, прикинув все плюсы и минусы, Дикс пришел к убеждению, что возможные выгоды от визита в Мюнхен могли оказаться довольно-таки значительными, несмотря на все неудобства этого про-

должительного и по-своему унижительного вояжа.

Была еще одна причина, заставлявшая Дикса примириться с необходимостью исполнить столь необычайный приказ. Два дня назад Марта сообщила ему по телефону, что проведет рождественские праздники в Тюрингии, и он вдруг подумал, что, если на обратном пути из Мюнхена поедет через Эрфурт, то сможет разыскать дочь американского посла в одном из отелей в прекрасных тюрингских горах.

В спальном купе он ехал один. Побрившись и вымыв голову шампунем, как это делал каждое утро в своей комфортабельной холостяцкой квартире на Курфюрстендамм, он вышел в коридор вагона, освеженный и бодрый, в безупречном костюме из английского шевиота, в модном галстуке с дорогим перламутровым зажимом. Блондинка не первой молодости в предельно коротком пеньюаре дважды прошла по коридору и, когда он уступал ей дорогу, прижималась к его груди несколько плотнее, чем в том была необходимость. Потом вдруг в дверях ее купе показалась другая дама — черноокая, значительно моложе первой, — она пронзила Дикса таким настойчивым, интригующим взглядом, будто ей сию минуту сообщили, что в коридоре стоит сам Хосе Могика.

Дикс повернулся к темному окну и увидел в нем отражение своего загоревшего на зимнем солнце лица со шрамом от удара шпаги на правой щеке и пронизательными зеленоватыми глазами. „От взгляда ваших глаз не скроешься никуда... а порой и вовсе пропадает желание скрываться“. — сказала ему однажды Марта.

На перроне старого мюнхенского вокзала его встретил молодой мужчина в коричневой форме и передал приглашение господина премьер-министра прибыть в кафедральный собор.

Дикс удивился. Он приготовился к встрече в домашней обстановке, а тут его приглашают в церковь!

Огромный зал собора был переполнен. Синий полумрак окутывал длинные скамьи, на которых расположились разодетые господа и дамы. Дикс остановился у входа и бросил взгляд к алтарю. Там, в глубине гигантского собора, виднелось несколько свободных рядов. На самой первой скамье сидел всего один человек — здоровяк-мужчина в парадном генеральском мундире. Это был премьер-министр и министр внутренних дел Пруссии Герман Геринг.

Следующие два ряда были заполнены молодыми людьми в гражданском, чьи плотно сомкнутые спины подсказывали, с какой целью они находятся здесь. Несомненно, эти люди охраняли нацистского главаря, отделяя его живой стеной от прочих граждан Мюнхена.

Дикс двинулся по дорожке, мягко поскрипывая лакированными ботинками. Мимоходом он ловил на себе любопытные взгляды благородных дам, напоминающих породистых борзых, — штатских в черных костюмах и военных с аксельбантами и ленточками на груди. Подойдя к первому ряду, Дикс остановился и чуть кашлянул. Он знал, что сейчас за ним наблюдает вся элита города, и это доставляло ему удовольствие.

Геринг тотчас повернул к нему свою короткую шею — у него была быстрая реакция, приобретенная, вероятно, за многие годы увлечения охотой, — увидел его и фамильярно, рукой, сделал знак сесть. Но прежде чем Дикс опустился на скамью, премьер-министр пробубнил слегка приглушенным голосом:

— Служба восхитительная. Послушайте. Не будете жалеть.

Дикс усмехнулся: он знал эту привычку шефа бубнить, когда ему хотелось замаскировать истинную цель начатого им разговора.

— Надеюсь! — сказал Дикс, медленно расстегивая пуговицы пальто.

Рождественская месса была поистине великолепна. На возвышении перед алтарем, вполоборота к собравшимся, стояли три священника — на их рясах в полумраке поблескивали кресты, вышитые золотыми и серебряными нитями; они пели красивыми сочными баритонами то в один, то в два голоса, поочередно подхватывая мелодию, которая росла, делалась все мощнее.

И Дикс подумал, что, должно быть, очарование, волшебство церковного пения и состоит именно в непрерывном варьировании мелодии, в постоянном чередовании партий солиста и всего хора. Однако, несмотря на все возраставшую патетику, пение казалось ему лишенным земной драматичности, манера исполнения носила скорее условный, успокаивающий характер. Это ощущение усиливал и чистый, звонкий детский хор, по временам звучавший с балкона напротив алтаря — там стояло несколько десятков мальчиков в длинных белых одеяниях, четко выделявшихся своей белизной в полумраке. А над всем этим властвовали, медленно переливаясь, густые, тяжелые звуки органа, одного из крупнейших старинных органов Германии, на котором некогда играли и Бетховен, и Густав Малер.

Дикс сидел, удобно откинувшись на спинку скамьи, и с интересом наблюдал за своим соседом. Геринг, устремив взгляд в раскрытый перед ним молитвенник, внимательно следил за текстом. Жирным указательным пальцем он медленно двигал по листу тонкой, почти папиросной, бумаги, и перстни на его руках поблескивали резкими, короткими всполохами. Толстые губы шептали что-то, голова немного склонилась набок, левая рука благоговейно лежала на огромной, увешанной орденами груди.

Едва уловимая насмешка промелькнула в глазах Дикса. Мог ли Геринг быть искренним в этот момент? Или же, слившись в молитвенном экстазе с прочими людьми, он продолжал разыгрывать комедию, привлекая к себе взгляды окружающих и возбуждая восхищение и преклонение? Трудно было ответить на этот вопрос. Как и в других случаях, Геринг раздваивался между безграничной суетностью и откровенным религиозным порывом своей экспансивной и в то же время сентиментальной натуры. Диксу даже показалось, будто в глазах шефа блеснули слезы.

Под впечатлением столь необычайного поведения Геринга, под воздействием бесконечной покоряющей стихии музыки, совершаемых таинств и живого, осязаемого полумрака Дикс испытал приятное волнение: его охватило чувство превосходства над всеми этими находящимися по соседству, утопающими в полумраке людьми.

Было что-то возбуждающее, демонстративное в том, что он, Вольф Александр Дикс, сын бывшего учителя-социалиста, сам состоявший в молодые годы в социалистической партии и прослуживший несколько лет в министерстве социалиста Северинга, сидел сейчас в первом ряду знаменитого мюнхенского собора возле второго человека рейха, которого, как и его, охраняли верные гвардейцы.

Дикс внимательно осмотрелся вокруг — внезапно захотелось удостовериться, что все это правда, реальность! И, когда он увидел огромное пространство полутемного зала, в его глазах блеснули живые радостные искорки, которых, однако, никто не успел заметить.

По окончании службы они уселись в большой черный „мерседес“ и двинулись по оживленным улицам города.

Геринг был возбужден, говорил об облагораживающей, активизирующей стихии религиозных служб, о том, что величественные соборы, гремящие ограны и внушительные мужские хоры призваны вдохновлять германскую нацию на осуществление ее исторической миссии на земле.

Спустя некоторое время он принялся беспокойно оглядываться по сторонам, опустил массивное разделительное стекло и ткнул шофера пальцем в спину.

— Опять забыли — это шоссе в ремонте. Сверните на верхнее!

Потом, нахмурившись, внезапно уставился взглядом в пространство и застыл, развалившись, заняв своими толстыми ляжками две трети сиденья.

— Какая иная религия, кроме католической, в состоянии постичь это? Неужели с помощью нелепых и смешных языческих обрядов, извлеченных из праха прошлого, можно воздействовать на нашу молодежь, на мужчин и женщин современной Германии?

Дикс догадался, что Геринг, вероятно, имеет в виду намерение фюрера ввести в стране древнегерманскую религию бога Вотана. И от этого намека, а также потому, что шеф позабыл поднять стекло и шофер мог слышать их разговор, Дикс испытывал некоторую неловкость. Он попросил разрешения закурить и осторожно поднял блестящую крышку пепельницы.

Наступила тишина. Слышался лишь равномерный шум мотора приглушенный и несколько смягченный: они уже покинули город и подымались в горы по узкому шоссе среди высоких, покрытых снегом сосен.

Дикс жадно глотал сигаретный дым и страхивал пепел в металлическую коробочку настолько сосредоточенно, будто крайне важным было не уронить ни единой пылинки на пестрый коврик под ногами. Все его чувства были обострены до предела. Он не знал еще, к чему клонит Геринг и зачем столь срочно вызвал его к себе, но ему было приятно ощущать, как машина углубляется в зимнюю тишину гор. В этом безмолвном скольжении между деревьями, вдали от людских глаз, было нечто таинственное, действовавшее на него возбуждающе и многообещающе.

Он прибыл в красивый охотничий замок Геринга и через несколько минут уже сидели возле низкого столика перед огромным пылающим камином, стены просторного зала были в изобилии увешаны охотничьими трофеями, дорогими картинами.

Геринг подал гостю тяжелую хрустальную рюмку с коньяком и, подняв свою, поздравил с благополучным прибытием. Потом зажег сигару и начал тихим, необычно озабоченным голосом:

— Прошу извинить меня за то, что я испортил вам рождество, Дикс, но дело серьезное и не терпит отлагательств... Вам, вероятно, известно, что вчера вечером закончился Лейпцигский процесс. Наша партия и подавляющее большинство народа недовольны приговором и никогда не примирятся с тем, что отъявленный враг Германии оправдан.

Дикс беспокойно задвигался в мягком кресле. Вчера он слышал по радио сообщение о завершении процесса, но ему ни на мгновение не приходило в голову, что Геринг мог вызвать его в связи с этим. Он все еще не понимал, что же требуется шефу от него. Подготовкой и проведением процесса занимались лично Геринг и главарь берлинских штурмовиков граф фон Гельдорф. Дикс находился в стороне, — возможно, потому, что он

был беспартийным и в первые месяцы нацисты не питали к нему особого доверия. Позже, когда Геринг оказал ему свое покровительство, он не раз упоминал о процессе, а после допроса в качестве свидетеля долго хвалился, как ему удалось прижать к стене этого дерзкого и невоспитанного Димитрова. И это было все. Но вот теперь, когда дело сделано, они неожиданно вспомнили о нем.

Дикс пригубил коньяк и сказал осторожно:

— Насколько я понимаю, подсудимые задержаны в Лейпциге до особого распоряжения.

Геринг метнул на него острый недовольный взгляд.

— Разумеется, осталось только выпустить их!.. В сущности, фюрер считает, что Димитров после процесса должен быть взят под наш контроль в Берлине, и это должно решить его судьбу. Я дал соответствующие указания до ухода в отпуск. Сейчас сожалею, что не обратился к вам, а передал дело в руки Гельдорфа и Хеббе... Вчера мне позвонил секретарь имперского министерства иностранных дел и сообщил новое решение, якобы принятое на заседании кабинета. Потом я понял, что никакого заседания не было, а наш уважаемый министр барон фон Нейрат просто-напросто отправился к фюреру и сумел убедить его изменить первоначальный план исходя из каких-то внешнеполитических соображений. — Он засопел и тотчас раздраженно добавил: — Стоит человеку уехать на пару дней из Берлина, как Нейрат и компания моментально начинают влиять на фюрера своими идиотскими идеями!

Дикс помолчал несколько секунд, затем с легкой улыбкой произнес:

— Думаю, что вы, господин премьер-министр, несколько драматизируете события. Как-никак Димитров еще в Германии, и насколько мне позволяет

судить опыт в этой области, в ближайшее время он не может быть выслан. Что же касается Гельдорфа и Хеббе, то я не вижу, какие меры они могут предпринять при сложившейся ситуации.

— Ах, оставьте дипломатию, Дикс! — прервал его нервно Геринг. — Это было в моде во времена Веймарской республики. Сейчас речь идет не о Гельдорфе с Хеббе, а о гораздо более важных и значительных вещах!.. Между прочим, вы знаете Нейрата давно. Каково ваше мнение о нем?

Дикс моргнул пару раз, несколько озадаченный вопросом.

— Думаю, что он лоялен, — сказал он, не понимая сам, как это пришло ему в голову.

Геринг поморщился.

— Ненавижу это слово. Быть просто лояльным после того, как уже целый год власть в наших руках, — этого мало... Или вы не согласны со мной?

Дикс отвел взгляд, к нему постепенно возвращалось самообладание.

— Путь от лояльности до полной преданности у каждого человека протекает по-разному, господин премьер-министр. Это зависит от многих причин.

— Для простых людей — да, но коль скоро речь идет о министре иностранных дел... Впрочем, я совсем забыл — ведь вы вместе служили Веймарской республике и потому, должно быть, и защищаете его.

— Я не защищаю его, господин премьер-министр.

— Вы до того докатились, что, не возьми мы власть в январе, однажды утром все мы могли очутиться под властью красного сапога!

Дикс не совсем деликатно откашлялся.

— Как-то я вам уже сказал, что пока первое отделение было в моих руках. подобного произойти не могло!

— О, вы не лишены самомнения, — Геринг посмотрел на него с искренним любопытством. — Быть может, вы правы. Потому-то я и назначил вас директором гестапо, потому и сейчас вызвал из Берлина... Но оставим прошлое, Дикс, вернемся к этому ужасному Димитрову! Одно ясно всем, надеюсь, и вам тоже, — он причинил Германии такой колоссальный вред, что мы совершим непростительную ошибку, если позволим ему уехать... Вопреки всем внешнеполитическим соображениям Нейрата! Мой план прост. Первое время мы перестанем интересоваться Димитровым. Постепенно общественное мнение начнет о нем забывать. Мы ставим палки в колеса всеми средствами. Нам на руку объективные трудности, связанные с вопросом подданства, экстернирования и прочее. Когда отшумит первая волна, незаметно переправим его в Берлин. А оттуда, открыт путь в концлагерь...

— Как вы находите этот план, Дикс?

— План отличный! Полагаю, что лучше невозможно придумать.

— Я рад. С этого момента вы отвечаете за его исполнение, как и за все, что касается Димитрова. После обеда я сообщу вам некоторые важные аргументы, связанные с необходимостью обезвредить Димитрова. Вы их направите в форме письма наиболее влиятельным членам кабинета, чтобы подготовить их к предстоящим действиям с нашей стороны... В конце письма добавьте, что предлагаемые меры полностью совпадают с выраженным мною мнением.

— Слушаюсь, господин премьер-министр! — кивнул головой Дикс.

Дорогой французский коньяк растекся по жилам, вызвав приятное чувство расслабленности. Но, как всегда, это состояние не притупило наблюдательности Дикса, наоборот, — чувства обострились, многократно

возросла способность улавливать тончайшие нюансы слов и жестов, безошибочно разгадывать самые потаенные мотивы. Он вспомнил о распространившейся в ноябре молве, если верить которой, Геринг во время допроса в качестве свидетеля не устоял против убийственной логики Димитрова и потерял присутствие духа. Не было ли это истинной причиной теперешней активности премьер-министра? Геринг никогда не простит болгарину, что тот заставил его проглотить горькую пилюлю, чему стали свидетелями миллионы радиослушателей. Дикс понимал, что весь фокус состоит именно в этом, но ему доставляло удовольствие грикидываться наивным и искренне верящим в серьезные государственные доводы Геринга. Он испытывал удовлетворение по двум причинам. Во-первых, им овладевало злорадное чувство торжества при мысли, что шеф, пусть поздно, но все же вынужден был обратиться к нему за помощью, вспомнив наконец, что Дикс целых десять лет руководит отделом по борьбе с коммунистами. Во-вторых, он вновь испытал чувство облегчения от сознания того, что находился в стороне от этого неумело состряпанного процесса и это спасло его от множества забот и тревог.

Вошел пожилой лакей и пригласил господ к столу.

Геринг резко вскочил с кресла.

— Идемте, Дикс! Сейчас вы будете иметь удовольствие отведать вкуснейшую рождественскую утку, такую вам вряд ли доводилось пробовать ранее!

5.

— Дышите!.. Покашляйте!.. Не дышите!.. Можете одеваться.

Доктор Штайнер вынул из ушей дужки стетоскопа

и принялся наматывать на них резиновые трубки. Димитров протянул руку к рубашке.

В камере было светло и сравнительно тепло. Наступил тот самый час, когда в полдень на совсем короткое время лучи солнца касались верхнего угла маленького окошечка и проникали внутрь мрачного помещения. Косой столб света, густо насыщенный пылинками, протянулся от окошечка к двери, и в нем стремительно клубились бесформенные струи голубоватого дыма от сигареты Штайнера.

— У вас обострился бронхит, — сказал доктор, бросая спичку на пол. — Но это не все. Нервы тоже не в порядке.

Доктору было около тридцати пяти. Этот крупный, несколько медлительный мужчина с чуть рябоватым лицом и бледными губами с розовыми трещинами в уголках имел вид хронического диабетика.

— Вообще говоря, вы нуждаетесь в длительном систематическом лечении.

Димитров сел на постель и не спеша начал застегивать пуговицы рубахи.

Штайнер наблюдал за ним с затаенным любопытством.

— Разумеется, винить тут некого. Пеняйте на собственный острый язык!

— С этим человек рождается, — заметил Димитров, и легкая улыбка пробежала по его лицу. — Это как родимые пятна... Вы не согласны?

Доктор не ответил, взгляд его внезапно уперся в стол, и рыжие брови полезли вверх. Прямо перед ним, на стопке книг, лежали три советские газеты. Штайнер взял одну из них. Его маленькие бесцветные глазки оживились, губы скривились в привычную гримасу. Наконец он пробормотал, не поднимая головы:

— О, вам не приходится жаловаться на нашу тюрьму!

— Да , после почти целого года ожидания я получил-таки наконец три номера за прошлый месяц.

— До сих пор вы считались подсудимым!

Димитров промолчал и, видя, что Штайнер с любопытством вглядывается в текст, спросил:

— Вы понимаете по-русски?

— Ровно столько, чтобы уразуметь, что вы стали знаменитостью! — ответил врач, постукивая пальцем по газете.

Димитров несколько смутился.

— Лишь вчера мне стало ясно, как много писала советская печать о процессе.

Штайнер недоверчиво взглянул на него.

— Если вам удастся вырваться из Германии, можете рассчитывать на славу и вольготную жизнь! — заметил он. — Только мне не верится, что вы выветесь.

Димитров посмотрел на него с удивлением.

— Благодарю за откровенность.

Штайнер направился к двери.

— Я пришлю вам порошки. Избегайте пить холодную воду... А о том, будто вы не знали, насколько стали известны, рассказывайте другим!..

Димитров остался один. Он стоял посреди камеры, устремив взгляд на дверь, и на лице его играла задумчивая улыбка. Собственно, чему тут удивляться? Он давно постиг бездонный скептицизм доктора. Сын водопроводчика, выросший в нищете, Штайнер был озлоблен жизнью и держался со всеми подчеркнуто грубо и бесцеремонно. Так же вел он себя и с Димитровым. Они часто спорили, расходились во мнениях, но, кто знает почему, Димитров не находил оснований сердиться на него.

Димитров припомнил его последний намек, и улыбка медленно сошла с его лица. Он подошел к окошку и

слегка приоткрыл одну створку. Потом. внезапно оживившись, принялся ходить по камере.

Это было первое утро, когда он чувствовал себя несколько лучше. Но, как нередко случается не только в тюрьме, врач пришел именно в такой момент, хотя он просил вызвать его еще два дня назад.

Димитров считал, что уже может обойтись и без врача. Все утро он просидел над книгами. Порой, как некие далекие и смутные предвестники, возникали внезапные мысли о будущем, проносились в голове отрывки ненаписанных протестов и настоятельных просьб, которые нужно было отправить.

Постепенно его все более властно охватывало желание спокойно обдумать положение, а вместе с ним вновь пробудилась и покинувшая его в последнее время привычка смотреть событиям прямо в лицо, располагать их по степени важности, проникать в самую суть. Каково сейчас их истинное положение? Их оправдали лишь потому, что не представилась возможность подвести под какое-либо обвинение, но это вовсе не означало, что будет так просто вырваться из-под ареста. В распоряжении о задержании не указывалось никаких мотивов — должно быть, решение было принято на скорую руку, в последнюю минуту, и Геринг со своими людьми еще не придумал убедительных доводов. В том, что они их отыщут, Димитров не сомневался. Достаточно придраться к его сомнительному подданству или же вспомнить о приговорах, вынесенных в Болгарии, чтобы получить основание затянуть решение вопроса на месяцы... Так, значит, надо начать вот с чего — вновь и еще более настойчиво потребовать от посольства в Берлине паспорт и въездную визу в Болгарию. По всей вероятности, официально он не лишен болгарского подданства, хотя и покинул страну более десяти лет назад. В то же время учитывая возможный

отказ, следовало предпринять попытку уехать в какую-либо иную страну — Чехословакию, Голландию или Францию, где с большим успехом можно было бы продолжать борьбу за возвращение на родину.

Но прежде всего необходимо добиться скорейшего свидания с матерью и сестрой.

Он уже было сел на стол написать записку директору тюрьмы, но в этот момент пришел доктор...

Внезапно ему подуло в спину. Лучи солнца больше не проникали в камеру, и в ней вновь воцарился неприятный холодный полумрак.

Димитров подошел к окошку и прежде чем толкнуть створку глубоко вдохнул воздух. Резкая волна холода наполнила грудь, острыми когтями впилась в больные легкие. Он закутался в макинтош и вернулся к столу... „Бронхит обострился, вам необходимо длительное, систематическое лечение!“ — сказал Штайнер. Да, врач знал свое дело — в этом ему не откажешь, как нельзя оспаривать и его бесцеремонную прямоту.

Димитрову вспомнилось откровенное мнение доктора о будущем, и незаметно для себя он принялся быстро ходить по камере. Как видно, и в этом своем утверждении доктор не был далек от истины — несомненно, он отлично разбирался в образе мышления Геринга и... компании.

Димитров усмехнулся, припомнив странные мысли и сомнения, которые еще вчера ночью терзали его. Страх первой встречи с людьми и разочарования, которые он мог бы им принести, показался ему смешным и беспредметным — никто не мог сказать, выйдет ли он вообще когда-либо из тюрьмы. Не случайно же Штайнер со всей присущей ему циничностью откровенно заявил: вопрос о выезде из Германии остается крайне проблематичным...

Димитров остановился у стола, перелистал бумаги.

„Посмотрим, посмотрим, это еще как знать!“ — подумалось ему. Внезапно он почувствовал прилив бодрости, его охватило то знакомое чувство, когда хочется преодолевать препятствия, бороться с сильным и изобретательным противником. Как ледяной воздух вызвал в его легких мгновенную реакцию боли, так и вызывающие своей категоричностью слова доктора действовали на Димитрова подобно сильному и эффективному стимулятору. Он решительным движением пододвинул стул и потянулся к перу...

Погруженный в работу, он не услышал, как щелкнул замок и в камеру вошел невысокий, довольно пожилой надзиратель. Он принес миску с едой и, тихо поздоровавшись, приблизился к столу.

Димитров поднял голову.

— А, это вы, господин Клуге!.. Как поживаете? Как провели праздники?

— Благодарю, — сказал старик и вынул из кармана несколько пакетиков из грубой серой бумаги с порошками. — Это посылает доктор — по одному после еды.

Димитров ласково взглянул на него, потом на порошки и лукаво усмехнулся. „Весьма признателен вам, доктор! — подумал он. — И не только за лекарства, но и за ваши слова, за ваш крутой нрав!..“

И заметив, что Клуге рассматривает его с плохо скрываемым любопытством, сказал с шутливыми нотками в голосе:

— Не ожидали увидеть меня снова здесь, не так ли, Клуге? Переоценили мы с вами имперское правосудие и немного поспешили попрощаться.

— Прошу вас, не говорите так громко, господин Димитров. Вы же знаете, это запрещено.

— Но я оправдан, Клуге, — засмеялся Димитров. — Уж об этом-то вы слышали. Вот, смотрите, мне даже разрешили получать русские газеты... Скажите, был

подобный случай в вашей практике, чтобы оправданно-го судом снова возвращали в тюрьму?

Надзиратель опустил голову.

— Вы ведь знаете, я здесь недавно.

В его голосе прозвучал мягкий, едва уловимый укор, и Димитров пожалел о своих словах. Старик сказал чистую правду. Он стал надзирателем менее года назад, не по своей воле.

Неприметный человек, с едва различимыми усиками и ясными глазами, взгляд которых придавал лицу выражение детской чистоты и инфантильности. На самом же деле Клуге был уже пожилым человеком, пережил трудные годы, недавно потерял жену и, имея на руках парализованную дочь, едва сводил концы с концами.

— Простите! — сказал Димитров, легко коснувшись его плеча. — Не хотел вас обидеть... Как Рената? Осталась ли довольна вашим подарком?

Лицо надзирателя осветилось радостью, и он охотно принялся рассказывать о рождественском вечере...

Когда он собрался было уйти, Димитров задержал его.

— Могу ли я попросить вас об одной услуге, господин Клуге? Я написал эти письма... Одно к... — он не успел закончить, острый приступ кашля не дал ему говорить.

Лицо налилось кровью, глаза выкатились, грудь судорожно вздымалась, он жадно глотал воздух. Приступы следовали один за другим, становились все тяжелее и тяжелее. Стиснув побелевшими пальцами край стола и низко склонив голову, Димитров боролся с душившим его кашлем.

Клуге несколько секунд сочувственно смотрел на него, потом, подхватив под мышки, осторожно подвел к постели.

— Пойдемте, господин Димитров, прилягте... Сейчас принесу вам водички.

6.

... Выйдя из камеры, Клуге направился в комнату дежурного офицера. Он согласился выполнить просьбу Димитрова, хотя и не без некоторой внутренней борьбы...

Три дня назад Клуге попросился с Димитровым, охваченный противоречивыми чувствами. Он знал, что служба его пойдет спокойнее, как только он расстанется с опасным коммунистом. Но, с другой стороны, ему было немного не по себе, когда он пожелал Димитрову всего хорошего. В тот миг ему подумалось, что, может быть, уже никогда не придется увидеть этого немолодого, но кипящего силой и энергией человека, не побоявшегося на своем странном немецком языке бросить в лицо первых людей государства довольно горькие истины. Клуге не во всем одобрял его поведение, смущало его до известной степени и то, что такой солидный и интеллигентный человек в пятьдесят лет оказался в тюрьме под одной крышей с ворами и шантажистами. И все же ему трудно было расстаться с этим человеком.

В состоянии душевного разлада встретил он вчерашнее утро и новость о повторном задержании Димитрова и его друзей. Он слышал по радио, что их оправдали, и никак не ожидал застать их снова здесь. После сообщения он сказал дочери, что узник-иностранец, которого он охранял около месяца, наверняка, уже выпущен из тюрьмы, и будь тот верующим, ему прежде всего следовало бы прямехонько отправиться в церковь и воздать должное богу, поскольку освободили-то его

как раз накануне рождества. Рената посмотрела на отца своими большими глазами. „Ах, если бы молитвами можно было помочь!“ — словно говорили эти глаза, и он сокрушенно опустил голову...

Две недели назад крупнейший берлинский профессор высказал свое авторитетное мнение — паралич неизлечим, девушка на всю жизнь останется прикованной к коляске. В глубине души Клуге уже знал об этом жестоком приговоре судьбы и смирился с ним. Пока была жива жена и дела в его маленькой столярной мастерской шли сносно, он был более или менее спокоен за будущее. Но со смертью Барбары и особенно в годы кризиса, который подобно прессу подмял под себя и уничтожил его мастерскую, Клуге совсем растерялся. Что станет с девочкой, если погибнет и он? На что она станет существовать, но кого он ее оставит, прежде чем покинет этот грешный и глубоко несправедливый мир?.. Старик долго размышлял перед тем как решиться поступить на службу в тюрьму. Ему нужен был трудовой стаж для пенсии, и он надеялся, что, находясь на государственной службе, сможет выхлопотать хоть какое-нибудь пособие для дочери. С прибытием берлинского профессора вновь затеплилась надежда. Старик бросился к знакомым, и, приложив массу усилий, свез к нему Ренату. Слова известного медицинского светила погасили последние искорки его надежды.

Несколько дней он ходил совсем разбитый. Однажды вечером, когда он вошел в камеру Димитрова, чтобы забрать миску, болгарин неожиданно остановил его и поинтересовался, что с ним, отчего последнее время он такой задумчивый. Клуге изумился — он никак не ожидал, что кто-то может обратить внимание на его настроение. Они разговорились — о службе, о дежурствах, о жалованье. Старик отвечал неохотно, но не спешил уйти. И тогда Димитров сказал:

— Извините за любопытство, Клуге, мне хочется вас кое о чем спросить. Вы мне кажетесь порядочным человеком, и я что-то не понимаю, почему вы взялись за столь неблагодарную и даже, простите, не совсем чистую работу.

Клуге вздрогнул, ему захотелось немедленно выйти, но то ли его остановил чистосердечный тон, каким был задан вопрос, то ли оттого, что на душе было тяжело и некому было поведать свои думы, он как-то разом обмяк и принялся рассказывать о себе — о войне, о женитьбе, о маленькой мастерской, разоренной в годы кризиса. Под конец не сдержался и, чуть не рыдая, заговорил о самом большом своем горе — о Ренате.

Димитров слушал внимательно, с пониманием. Когда старик кончил, он с чувством неловкости сказал:

— Извините меня, я не знал о вашем несчастье... Уверен, что не любовь к форме привела вас сюда, — понимаю, вы хватили лиха в годы войны. Но все дело в том, Клуге, что для честных и сознательных людей этого недостаточно. Не следует ни на миг забывать о том, что пусть не по своей воле, но тем не менее человек при этом остается защитником строя, несущего народу столько бед.

Надзиратель с тревогой оглянулся и, пятась к двери, произнес излишне громким голосом:

— Прошу не вести со мной политических разговоров, господин Димитров... Вам постоянно меняют надзирателей, а вы все за свое.

И тогда послышался тихий, сердечный смех:

— Хотите, признаюсь вам кое в чем, Клуге? Ваше начальство не отличается особой дальновидностью. Существует опасность, что, пока я здесь, я сумею проагитировать весь низший персонал тюрьмы.

Пораженный и еще более испуганный, Клуге обернулся, но лицо Димитрова вновь стало серьезным.

Он подошел к надзирателю и в упор посмотрел на него своими черными глазами.

— К вам это не относится. Вы отлично разбираетесь во всем, и я не вижу необходимости вас агитировать.

И старик снова почувствовал себя странным образом обезоруженным этими словами. Он не помнил, долго ли находился потом в камере и о чем они говорили, но когда вышел, сердце обволакивала мягкая, приятная теплота.

Он направился к дежурному офицеру Вальтеру и тихо постучал в дверь.

Через мгновение он стоял навтыжку перед молодым краснолицым лейтенантом с короткими волосами в мелких кудряшках. Лейтенант сидел за письменным столом и рылся в какой-то папке. Рядом, на листке исчерканной промокательной бумаги, лежала блестящая черная кобура с пистолетом.

— А, старик, вы-то мне и нужны! — сказал лейтенант. — Пропать дел с самого утра. Есть новые распоряжения, касающиеся и вас... Что это? — спросил он, заметив в руке надзирателя письма.

— Это посылает заключенный из сорок седьмой камеры.

— Кто, кто? — спросил, подавшись вперед, дежурный офицер. — Из сорок седьмой? Уж не тот ли... поджигатель?

Клуге отвел взгляд.

— Его оправдали, господин лейтенант... И по радио сообщили.

Вальтер выкатил глаза, лицо его приобрело свирепое выражение.

Он поднялся из-за стола, перепоясался ремнем и принялся расхаживать по комнате, засунув руки в карманы галифе.

— Оправдали! Лишь такие, как вы, могут сразу

поверить в невиновность величайших преступников. Не спешите, милейший! По этому вопросу еще не сказано последнее слово! — Он приподнялся на носках и сквозь карман сделал левой рукой чисто мужской жест. — Кстати, именно сегодня мною получен приказ полицей-президента перевести Димитрова на особо строгий режим. А вы мне рассказываете, что оправдали... Мне давно следует побеседовать с вами по некоторым вопросам. Как видно, по части политического образования у вас серьезная недоработка... Дайте-ка сюда эти письма! Кому они, говорите?

— Одно — председателю суда, а другое...

Дежурный презрительно скривил губы:

— А фюреру нету?

Он опустил на стул и, вынув письма из конвертов, небрежно швырнул конверты в сторону.

— Гм, может, хотите послушать, о чем пишет этот ваш приятель? — морщась, пробормотал Вальтер и уставился в строчки письма. — Слушайте! „Многоуважаемый г-н председатель! Прошу Вас распорядиться о выдаче мне точной копии приговора (включая и мотивировку его). Если иначе нельзя, прошу сделать это за мой счет. С почтением: Г. Димитров“. Слышали? — дежурный офицер поднял голову. — Господин желает получить точную копию приговора, включая и мотивировку. А не пожелает ли он вместо этого неким чудесным образом получить новый обвинительный актец!

Он сложил письма в папку и легонько прихлопнул ее ладонью.

— Для начала — неплохо! Только приготовил скворечник — и вот уже первые птички прилетели! Он будет думать, что письма идут своим путем, а они лежат в папочке. Таков новый приказ, и можете считать, что я его вам отдал.

Клуге неловко затоптался на месте. Он не мог взять в толк, о каком обвинительном акте говорил дежурный офицер, и все еще не решался оторвать взгляд от коричневой папки, в которой исчезли оба письма... Как же так, их написали, чтобы отправить, а они останутся здесь... Старик невольно спрашивал себя, каково могло быть содержание второго письма. Потом, вспомнив о только что услышанном прощении Димитрова, слегка удивился. Неужели в этом и состояло его первое и главное желание? И насколько спокойно, твердо он его выразил — так, как обычно держался со всеми и всюду — вежливо и в то же время бескомпромиссно. Перед мысленным взором Клуге вновь предстал узник — сидящий за узким столиком человек, закутанный в макинтош, устремивший сосредоточенный взгляд на лежащие перед ним бумаги, и какое-то чутье подсказывало старику, что и второе письмо, как видно, было такого же содержания. Ему показалось абсолютно невозможным, чтобы человек, подобный Димитрову, просил о чем-то лично для себя. И в тот же момент он понял, что слова Вальтера относились не только к двум уже написанным письмам, но и к тем, которые Димитров еще напишет. Смутная тревога закралась в сердце старика. Как он взглянет в глаза болгарину? Клуге заранее знал, что завтра его охватит желание сказать правду, предупредить, но найдет ли он смелости? Вот почему ему было не по себе.

Размышления старика прервал шумный вздох. Лейтенант потягивался, подняв руки над головой.

— Проклятые праздники! — простонал он. — Выжимают из человека все до капли. Не знаю, как вас, старик, а меня религиозные праздники настраивают на эротический лад.

Клуге покраснел, ему стало еще больше не по себе.

— Ах, да, забыл, ведь вы глубоко верующий, — с

иронией заметил лейтенант. — Извините, если вас задел. Одно мне не ясно, дорогой Клуге, как вы сочетаете набожность со своим служебным положением... Впрочем при интеллигентности, подобно вашей... Можете идти!

И поскольку надзиратель поколебался, прежде чем выйти, лейтенант с легкой досадой спросил:

— Еще что-нибудь?

— Так точно. Упомянутый заключенный попросил меня купить бумаги и чернил.

— Какой бумаги?

— На которой пишут! — сказал сухо Клуге. — У него старая кончилась.

— Купите! — махнул рукой Вальтер. — Пусть себе пишет, если не надоело! Да изведи он целые горы бумаги и испиши чернильные реки, все равно его жизнь в наших руках, и лишь от одного фюрера зависит, выйти ему на свободу или сгнить в тюрьме. Ясно?

Клуге склонил голову, но ничего не ответил. Тогда лейтенант приблизился к нему вплотную и, поднявшись несколько раз на носках, процедил сквозь зубы:

— Советую вам, старина, смотреть в оба! Не нравятся мне ваше милосердие к этому красному поджигателю. Я слышал, вы зачисти в его камеру.

Две-три секунды Клуге чувствовал себя стоящим на раскаленных углях, потом неуклюже повернулся и, согнувшись, двинулся к двери.

7.

Едва взглянув на него, Марта поняла, что произошло нечто необычное. Дикс выглядел усталым, глаза запали, ей даже показалось, что и выбрит он не столь уж безупречно.

Она была удивлена, но искренне обрадовалась — все-таки он приехал.

— О, как чудесно, что вы вспомнили обо мне, Вольф! — сказала она, не выпуская его руки.

В другой она держала за шнурки пару элегантных коньков, прикрепленных к высоким белым ботинкам. На ней была коротенькая юбочка, открывавшая ее стройные ноги. От нее не укрылся любопытный взгляд, который Дикс бросил на ее бедра — в сущности, он впервые видел Марту такой...

„Пожалуй, я ему нравлюсь!“ — промелькнуло в ее голове.

Они встретились у самых дверей отеля и стояли там, мешая входившим и выходившим. Было около десяти. К замерзшему озеру направлялись шумные группы молодежи, а поодаль, на широкой террасе, пожилые господа уже устроились в шезлонгах с книгами в руках. Яркое сияло солнце, снег ослепительно блестел.

— Вы меня легко нашли, Вольф? И вообще, откуда вы появились? Не вижу вашей машины.

— Я вам все расскажу, — улыбнулся он снисходительно. — Но не считаете ли вы, что это можно сделать где-нибудь в ином месте?

Она хлопнула себя по лбу и быстро схватила его за руку.

— Пойдемте!

— Мне не хотелось бы вас лишать удовольствия покататься, Марта.

Она задумчиво посмотрела перед собой. Только сейчас до ее сознания дошли все возможные последствия его визита. Она вспомнила о своих родителях, о том ньюйоркском адвокате, что приехал сюда в связи с процессом, о Пьере... Из пестрой галереи лиц, знакомых и близких, наибольшую тревогу в ее

сердце вызвала бородка Пьера. Он знал Дикса, и трудно было предвидеть, как он поведет себя с ним. Марта припомнила, что они договорились с Пьером встретиться на катке, и тотчас приняла решение отвести Дикса в ресторан. Так она будет спокойна, что по крайней мере до обеда он не встретится с Пьером.

Огромный зал с колоннами, зеркалами и высокими потолками был почти пуст. Кельнер, обслуживавший утром ее столик, ничем не выразил удивления при виде молодой дамы, вновь возвратившейся с неизвестным, элегантно одетым господином.

Марта спросила Дикса, что он хочет выпить, предупредив тем самым его намерение самому сделать заказ.

— Вы мой гость и оставайтесь им во всем.

— Ну хорошо. Рюмку коньяка... Надеюсь, это вас не шокирует?

— Ничуть. Я тоже выпью коньяка!

И она, подняв брови, надула губки, как маленькая нашалившая девочка.

Дикс усмехнулся по-прежнему снисходительно, но ничего не сказал. Марта сидела напротив и с жадностью рассматривала его. „Устал, под глазами тени. Должно быть, так выглядят мужчины после бурной ночи любовных утех... Неужели у него хватило нахальства приехать ко мне, если он был с другой женщиной?.. Нет, нет, это с дороги... И до чего же он хорош, сейчас даже лучше, чем всегда.

Так и подмывает провести пальцем по шраму на его щеке.“

Она решительно сделала глоток коньяка и вдруг почувствовала, как ей стало еще приятнее сидеть с Диксом. А Дикс смотрел на нее с все возрастающим интересом.

— Должно быть, за время моего отсутствия вас

окружали не слишком целомудренные приятели, — сказал он.

Марта широко раскрыла глаза и медленно покачала головой.

— Ужасные! Все до одного алкоголики!

— А ваш отец?

— Что отец? Разве вы не знаете, что он был одним из величайших противников сухого закона и не только в чисто теоретическом аспекте?.. Кроме того, вы забываете, что мне уже не восемнадцать, господин штандартенфюрер! Возраст, при котором, если верить биологической науке, девушка вполне пригодна рожать детей, голосовать, выбирать себе наставников, друзей и пороки.

— Каким именно вы отдаете предпочтение?

— Вы о пороках?

— Наставники меня интересуют гораздо больше.

— С какой точки зрения, осмелюсь спросить, — служебной или чисто человеческой?

Он ответил не сразу. Дикс рассматривал Марту в упор, и от этого взгляда она почувствовала приятную слабость в коленях.

— А вы как думаете, если видите меня перед собой здесь, в трехстах километрах от Берлина? — сказал он, наконец, тихим голосом, не отводя от нее взгляда.

Она склонила голову, не найдясь что ответить. Они всегда разговаривали так — полусерьезно, полужутливо, словно он никак не мог признать ее достаточно умной, равной себе собеседницей. Марта не раз давала себе слово положить конец этой глупой затее и держаться с ним серьезно и рассудительно, как с Пьером и его друзьями. Но стоило увидеться с ним, как благие намерения сами собой улетучивались, вновь ее увлекали заманчивые намеки и двусмысленности, позволявшие с шутливой невинностью касаться его

лица и украдкой принимать его нежности и ласки.

Это началось с их первого знакомства на одном из „пивных“ вечеров у вице-канцлера фон Папена, когда оба искренне забавлялись, посмеиваясь над присутствовавшими там дипломатами и высокопоставленными нацистами. Еще тогда он понравился Марте, и она пригласила его на коктейль в посольство. Потом они ходили на концерты и в оперу, и он частенько стал наведываться к ним. С ее родителями и гостями он разговаривал нормально, а с ней позволял себе держаться, как с малым ребенком. Даже когда она пыталась высказать свое мнение по какому-либо важному вопросу, Дикс моментально все обращал в шутку и спешил шепнуть очередную милую остроту, заставлявшую ее почувствовать в нем близкого, дорогого человека.

И вот тут, в ресторане, она впервые с удивлением открыла, что праздное вольнодумство не доставляет ей удовольствия. Она почувствовала какую-то странную тоску от этих бесконечных политических споров и мудрствований, свидетельницей которых ей довелось быть в последние две недели, находясь в обществе Пьера и его приятелей-журналистов. Вспомнив о них, она даше внезапно испытала состояние душевной умиротворенности с оттенком смутного чувства вины.

— Вы увидите их в обед, — произнесла она с мечтательной улыбкой. — Уверена, что они понравятся вам.

В тот же миг она поймала его откровенный, несколько беспокойный взгляд, и сердце ее сладостно дрогнуло. „Это ему неприятно, — мелькнуло у нее в голове. — Хоть он и умеет скрывать свои мысли, а этого скрыть не сумел!.. “

С видимым удовольствием она отпила немного коньяка и осмотрелась. Ресторан уже совсем опустел.

Горное солнце щедро лило яркий свет сквозь широкие окна. Марта сразу почувствовала себя счастливой — они здесь вдвоем, а до обеда еще много времени.

— Вы останетесь до вечера, Вольф? — спросила она разнеженно, медленно скользя взглядом по его лицу.

— К сожалению, это невозможно, — ответил он и пустился в какие-то длинные и скучные объяснения.

Она слушала его рассеянно — главное было понятно: он уедет. Рассматривала его смуглое лицо с четко очерченными губами и невольно сравнивала его с теми молодыми мужчинами, что последнее время вертелись возле нее. Ни один из них не мог даже отдаленно сравниться с Вольфом привлекательностью и мужественностью... И вновь ей показалось, что он похудел и устал, и она вдруг прервала его:

— С вами что-то случилось, Вольф, и случилось важное, непредвиденное... В чем дело? Вы обещали рассказать все!

Он потянулся к сигаретам.

— Ничего особенного, Марта. За исключением того, что скучная служебная командировка в Мюнхен позволила мне повидать вас.

И вновь она почувствовала, как теплая волна прокатилась в груди. Могла ли она ранее допустить, что станет столь чувствительной к каждому его доброму слову. И только сейчас Марта поняла, как ей не хватало его все те пятнадцать дней, что прошли в разлуке... Собственно, долгие разлуки лучше всего проясняют суть вещей... А разве для нее все уже ясно? Сердце Марты билось учащенно, и на какое-то мгновение она испугалась, как бы он не прочел ее мысли, но тут же усмехнулась с иронией. „Если не выдашь себя взглядом и жестом, то остаются еще мысли, которые можно прочесть!“ И она решила быть сдержанной и холодной,

чтобы не дать Диксу повода сделать заключение о легкой победе...

— Впрочем, и вы как будто намеревались рассказать мне что-то интересное, — с теплым тембром голоса Вольфа до нее долетел ароматный запах его дорогих сигарет. — Или вы позабыли, о чем обещали по телефону?

— Нет, не забыла, — сказала она, оставаясь все еще какой-то задумчивой. — Это, в самом деле, было большое переживание, и оно запомнится на всю жизнь... Знаете, я присутствовала на последнем заседании Лейпцигского процесса!

В изумлении он широко открыл глаза.

— Вы — на Лейпцигском процессе? Ради бога, зачем это вам нужно?

Его удивление было настолько искренним и непроизвольным, что Марта не нашла возможным оскорбиться.

— Папа достал мне пропуск, и я пошла. Ужасно сожалею, что не ходила на процесс с самого начала. Но и того, что я услышала в последний день, вполне достаточно.

Наступило короткое молчание. Дикс с преувеличенной тщательностью допил свой коньяк и с интересом смотрел на нее.

— Да, и что же?

— Не могу воспроизвести того, что говорилось там, да это не столь важно. Для меня более интересным оказался сам человек, а не его слова. Я говорю об этом болгарине... Димитрове. Вы его знаете?

— Нет, откуда мне его знать?

— Жаль! Это необыкновенный человек. Никогда не предполагала, что в наши дни мужчины его возраста могут быть такими темпераментными и бесстрашными. Слушая, как он высказывается против властей и

нацистов... простите, Вольф, вы ведь еще не вступили в партию, не так ли?.. И как тонко издевается над прокурором и председателем суда, я несколько раз вспоминала о вас... Да, да, поверьте. Мне показалось, что у вас много общего с этим болгаринном, Вольф, — та же смелость, с которой вы высказываете непривычное или не угодное окружающим мнение. — Встретив его изумленный взгляд, она наклонила голову и смущенно добавила. — Мне не забыть, что вы сказали Герингу в присутствии ошеломленных помощников, когда тот сообщил о вашем назначении на пост директора полиции.

Да, она действительно часто вспоминала этот случай, о котором узнала от других людей и который произвел на нее такое сильное впечатление. Марта живо представляла себе огромный кабинет нового прусского министра, видела нацистов, застывших подобно истуканам вдоль стен, и самого Дикса — в элегантном штатском костюме, — стоящего в непринужденной позе перед бюро, может быть, даже с сигаретой в руке. Геринг уведомляет его о назначении на высокий пост и через секунду со свойственным ему цинизмом бросает:

— Знаю, знаю, о чем вы думаете сейчас, Дикс, — что я буду пятым министром внутренних дел, кого вы переживете, — вы подумали об этом, не так ли?

И тогда в звенящей тишине огромного зала раздался спокойный и краткий ответ Дикса:

— Приблизительно.

У Марты всегда пробегали мурашки по телу, стоило вспомнить об этом...

— Марта, человек, который вас очаровал и с которым вы меня сравниваете, коммунист, — прозвучал голос Дикса.

Она взглянула на него с некоторым удивлением и небрежно пожала плечами.

— Какое это имеет значение! Прежде всего он храбрый мужчина, готовый презреть саму смерть во имя свободы и справедливости.

И она с еще большим увлечением принялась рассказывать о процессе. Припоминала отдельные фразы заключительной речи Димитрова, живо воспроизвела реакцию публики, судей, прокурора, пустилась в поэтическое описание пламенных глаз и вдохновенного чела „этого вулканического болгарина.“

Неожиданно она умолкла и посмотрела на Дикса. На какой-то момент ей показалось, что взгляд его приобрел напряженное и тревожное выражение, которое, однако, быстро исчезло. Собственно, нужно ли было занимать его своими переживаниями и увлечениями, к которым немалое отношение имели Пьер и его приятели. Явно, вся эта история вокруг Димитрова была ему совершенно чужда, и слушал он с едва скрываемой досадой исключительно из вежливости.

— Вам скучно, Вольф, — улыбнулась она виновато. Дикс вновь оживился.

— Нет, наоборот, интересно... И прежде всего интересны мне вы, милая Марта. Пожалуй, можно позавидовать этому... Димитрову.

Она бросила быстрый признательный взгляд и почувствовала, что слегка краснеет.

— Должна вам признаться, если бы я не была... если бы вы не были... одним словом, в него действительно могла бы влюбиться любая женщина.

Марта поджала губы, недовольная, что так глупо выдала себя. И она скорее увидела, чем почувствовала, как он осторожно и нежно коснулся кисти ее руки.

— Хотите поговорим о чем-нибудь другом? — услышала она тихий голос и тут же, не раздумывая, сжала его руку и чуть было не поднесла к своему лицу.

Но она так и не сделала этого жеста. Резко

откинувшись назад, она вдруг устремила взгляд в глубь ресторана. Между рядами столиков шел невысокий худощавый юноша с бородкой а ля Наполеон III, в спортивных брюках и черном свитере с высоким воротом. Это был Пьер.

8.

Первой ее мыслью было, что теперь они с Вольфом уже ни минуты не останутся вдвоем и что следовало бы порядком рассердиться на Пьера: он разрушил то прекрасное и хрупкое, что едва возникло.

— Хэлло, Пьер! Ты не меня ищешь? — окликнула она его с несколько неестественным оживлением. — Познакомьтесь, это Вольф.

Она не отдала себе отчета, почему назвала Дикса по имени, но смутно догадывалась, что сама того не желая, попала в цель.

Молодой человек посмотрел прямо в лицо Диксу. Во взгляде его слегка выпуклых глаз можно было прочесть острый, нескрываемый интерес и некоторую неприязнь. У Пьера дернулся кадык — у него была привычка часто и шумно глотать, — он протянул тонкую руку:

— Буланже!

Дикс чуть-чуть приподнялся со стула.

— Француз?

— Да, это Пьер, корреспондент газеты „Диманш“, — пояснила Марта.

— А господин — директор гестапо, не так ли? — внимательно всматриваясь в нее, сказал Пьер с акцентом.

Марта заметила, что заинтересованный Дикс повел бровями.

— Вы меня знаете?

„Остается только уточнить, что это я рассказала ему о Диксе!“ — подумала Марта, с беспокойством ожидая ответа Пьера.

— Многие из моих коллег знают вас, хотя вы об этом и не подозреваете, — сказал Пьер. — Полагаю, что в нашей профессии это лучшая из форм возможного общения.

Дикс усмехнулся:

— Вы правы, хотя в нашей профессии никогда нет надежной гарантии для инкогнито.

— Я говорю о личных знакомствах, — а не о досье, господин Дикс.

— В таком случае, согласен, — на губах Дикса мелькнула улыбка. — Может, выпьете с нами коньяка?

Пьер сделал вид, будто он только сейчас заметил на столике пустые рюмки.

— Благодарю, я пришел с определенной целью... Марта, ваши отец и мать спрашивали о вас. Может, вы позвоните им?

Марта вздохнула и вопросительно посмотрела на Дикса.

— Если хотите, мы можем уйти, — сказал тот, ища взглядом кельнера.

Наступило неловкое молчание. Пьер не выражал ни малейшего желания двинуться с места, он торчал столбом и, казалось, навсегда приковал свой недружелюбный взгляд к лицу Дикса. Марта почувствовала, как в ней начинает подниматься волна раздражения. Внезапно вспомнились нелестные отзывы ее новых приятелей о директоре берлинской полиции. И хотя сам Пьер редко допускал выпады против Дикса, она догадывалась, что за словами его коллег, в сущности, кроется его собственное мнение.

Они познакомились на одном из берлинских катков. Пьер сумел завязать приятельские отношения с ее

братом, который испытывал слабость ко всему французскому. В первый же день Марта поняла, что не очень-то привлекательный по внешности парижский корреспондент по уши влюблен в нее. В это время она уже начала охладевать к новому режиму в Германии и более всего к его молодым фанатизированным сторонникам, которые поначалу поразили было ее своей безграничной верой и сплоченностью. Вскоре Пьер с друзьями стали оказывать на нее определенное влияние, постепенно приобщили к своим симпатиям и взглядам. Она проводила с ними время, приглашала их в посольство, двери которого ее отец по своему чикагскому профессорскому обычаю держал широко открытыми для молодежи. Она видела, как увлечение Пьера росло с каждым днем, но не могла ответить ему взаимностью — ее интерес к Диксу также рос с устрашающей быстротой и не позволял думать ни о ком другом.

И вот впервые эти двое мужчин встретились лицом к лицу в ее присутствии, и, кто знает почему, она начала испытывать состояние странной вины. Попыталась быть беспристрастной к обоим, не отдаваться во власть чувств, но ее симпатии оказались на стороне Дикса. А тот был явно недоволен этой встречей. Пьер не скрывал своего холодного и предубежденного отношения к нему, тогда как Дикс держался спокойно. И вдруг ей захотелось защитить его каким-нибудь эффектным и неожиданным для Пьера образом. И пока Дикс продолжал взглядом отыскивать кельнёра, она подняла глаза на своего молодого приятеля и сказала с едва скрытым волнением:

— Знаешь, Пьер, мы с Вольфом долго говорили о процессе и Димитрове. Он не в курсе случившегося, но с сочувствием относится к судьбе заключенных и готов им помочь... — Она умолкла, почувствовав, что на этот

раз заварила такую кашу, от которой никому не будет сладко, а затем обратилась к Диксу: — Как вы думаете, что может случиться с этими болгарами, Вольф? Вы верите, что Геринг их освободит?

— Не могу вам сказать, — ответил тот вежливо, но несколько холодно. — Если судить по передовой статье в „Ангриф“, руководство партии не слишком довольно приговором.

Марта посмотрела на Пьера, который скептически поднял свои черные брови.

— Но вы ведь могли бы поговорить с Герингом? — с каким-то непонятным отчаянием в голосе сказала она, наклонившись к Диксу. — Он вас уважает, я знаю это... Пьер, ведь ты тоже слышал о влиянии Вольфа на премьер-министра Пруссии?

На этот раз ей не ответили, и она поняла с нарастающим чувством замешательства, что все ее старания разбились о скалу молчания. Тогда она вспомнила о ньюйоркском адвокате, что приехал с ее родителями провести здесь праздники.

— Впрочем, у меня идея... Пьер, что ты скажешь, если мы познакомим Вольфа с господином Галлахером?

Обернувшись к Диксу, она несколько торопливо объяснила, что американец прибыл в Германию в связи с повторным задержанием подсудимых Лейпцигского процесса.

Лицо Дикса стало еще мрачнее. Пьер, как обычно, резко передернул плечами и подхватил с саркастическими нотками в голосе:

— Не слишком ли многого ты хочешь от господина Дикса, Марта? Вероятно, он прибыл сюда инкогнито, с более приятными для себя намерениями, а ты занимаешь его политикой.

— Я всю жизнь занимался политикой, господин Буланже! — ответил Дикс. — Если смогу быть полезен

господину Галлахеру, сделаю это с удовольствием.

Марта бросила победоносный взгляд на Пьера, но тот не спешил с ответом, после минутной паузы он сказал, слегка склонив голову набок:

— Думаю, что полезнее всего было бы вообще не встречаться с ним, господин Дикс... А вот и кельнер! Вы хотели счет?

Глаза Дикса потемнели, он сжал губы. Марта испугалась. В этот момент она ненавидела Пьера, проклинала минуту, когда сказала ему, что проведет рождество во Фридрихсдорфе. Но Дикс быстро овладел собой и, сделав знак оберкельнеру, достал кожаный бумажник. Марта вспомнила, что это она его сюда пригласила, но сообразила, что сейчас не следует касаться этого вопроса.

— Я провожу фрейлен к родителям. — сказал Дикс убийственно спокойным голосом, глядя куда-то в сторону, словно Пьер для него не существовал.

В следующее мгновение тень Пьера резко качнулась, и Марта поняла с облегчением, что ее молодой мучитель наконец-то уходит.

9.

В одном Пьер был прав. Дикс в самом деле отправился в Тюрингский лес, чтобы избежать политических разговоров и, пусть ненадолго, сбросить с плеч тяжкий груз полученного задания.

Первой его удивила Марта. За прошедшие две недели, пока они не виделись, в ней произошла разительная перемена. Дикс понимал, под чье влияние подпала девушка, и, пожалуй, едва ли у него был бы повод для столь сильного беспокойства и раздражения, если бы он не узнал о непосредственных причинах

такой перемены. После нескольких часов пребывания в Мюнхене, где разговор шел исключительно о процессе и Димитрове, он был уверен, что рядом с Мартой по крайней мере не будет вспоминать о загадочном болгарине. Он намеревался по возвращении в Берлин просмотреть кое-какие протоколы предварительного следствия и заседания суда, чтобы составить более точное представление о подсудимом. И вот стоило ему приехать сюда, в горы, как снова он слышит это имя — Димитров. И притом из уст существа, от которого привык выслушивать лишь шутки, полупризнания, а временами — правда, все реже — наивные и высокопарные восторженные рассуждения о силе духа немецкой молодежи. Еще более неприятно на него подействовал Пьер с его явно выраженной классовой ненавистью, плохо сочетавшейся с бесперспективностью любви к Марте. К этому следовало добавить и поведение девушки, не оставлявшее никаких сомнений в серьезности ее увлечения Диксом.

По правде говоря, Дикс давно заметил, что Марта увлечена... Они познакомились в сентябре, после ее возвращения из Америки. Вначале он не обратил на нее особого внимания — Марта не сразу привлекла мужской взор. Но на одном из „пивных“ вечеров у фон Папена он вдруг открыл, что за внешней ее скромностью и неприметностью таится врожденное обаяние, обостренное чувство юмора и чистая, милая сентиментальность. Они быстро нашли общий язык, и вскоре Дикс стал посещать американское посольство. Вероятно, под влиянием Марты и прочие члены семьи проявили к нему живейшую симпатию. Посол довольно свободно поверял ему новости и мнения, представлявшие почти дипломатическую тайну; госпожа Додд относилась к Диксу с той чуть назойливой и фамильярной заботой, какую пожилые американ-

ки проявляют к молодым мужчинам, если те им понравятся; что же касается брата Марты Уильяма Додда-младшего, тот просто-напросто был покорен изысканными манерами директора гестапо — человека, занимавшего столь высокий пост, но нередко позволявшего себе смелые критические реплики в адрес властей.

Диксу льстили крепнувшие связи с семейством Доддов, он находил эти связи не только приятными и возбуждающе-пикантными, но и весьма полезными, если иметь в виду будущее с его непредвиденными сюрпризами. И все же он был осторожен. Старался не козырять в глазах общества своей дружбой с заокеанским семейством. Должно быть, поэтому и свои отношения с Мартой он держал на грани простой откровенной дружбы, не осмеливаясь сделать последний, решительный шаг. Разумеется, здесь помимо чисто политических соображений играл роль и неизбежный страх, который испытывает всякий стареющий холостой мужчина, завязавший отношения с девушкой намного моложе себя. Как бы то ни было, две недели назад Дикс был спокоен и не верил, что в его отношениях с Мартой могут наступить какие-нибудь существенные перемены. Теперь же он понял, что ошибался. Это обрадовало его и взволновало, но в то же время заронило в его сердце и смутное беспокойство.

Они вышли из ресторана и на миг остановились в пустом коридоре.

— Вы можете не провожать меня к нашим! — прошептала Марта, придвинувшись вплотную к нему и в упор глядя на него своими большими светлыми глазами.

Он окинул взглядом ее стройную фигурку в короткой юбочке с разлетающимися полами и спортивном трико, и его охватило внезапное желание крепко обхватить ее руками. Почти никогда он не

смотрел на нее глазами мужчины и не подозревал, что ее маленькая хрупкая фигурка может разжечь в его крови такую сильную страсть. Неужели все дело в том, что он впервые увидел ее бедра?... Он улыбнулся и с легким чувством самодовольства отметил про себя, что сейчас только от него зависело, будет ли она его и потечет ли вся его дальнейшая жизнь по новому руслу. Он находился от нее на расстоянии ладони, ощущал на своем лице ее горячее дыхание и, как всегда в подобных случаях, не знал, что предпринять.

— Ну, Вольф, пойдемте, я отведу вас в чудесный уголок! Там мы сможем наконец скрыться от любопытных взглядов, — продолжала шепотом Марта, придвигаясь к нему все ближе.

И вдруг в Диксе что-то надломилось. В голове мелькнуло, что Пьер уже раструбил повсюду о его появлении. Он представил двусмысленные взгляды и подумал об остротах, которые разнесутся по отелю в связи с их демонстративным исчезновением среди бела дня. Все это выглядело крайне неосторожным с его стороны; оставалось одно — идти до конца и сегодня же попросить руки Марты. Но был ли он внутренне подготовлен к такому поступку?

— Нет, не надо, Марта, — он взял ее пальцы и поднес их к губам. — Будем благоразумны! Ваши беспокоятся... кроме того, вы сами предложили познакомить меня с адвокатом, который...

По лицу Марты пробежала легкая тень удивления и разочарования.

— Да, да, — промолвила она, склоняя голову. — Вы правы... Пошли!

Их встретили с живым интересом и откровенным радушием. Посол, почти двухметровый гигант, подошел к нему своей медлительной походкой, несколько в раскачку. Его грубоватое, с глубокими морщинами лицо

американского фермера, которое от сильного загара казалось почти бронзовым, контрастировало, точно на негативе, с серебристой сединой волос. С трудом можно было поверить, что этот простодушный, небрежно одетый великан был одним из известнейших ученых-историков Соединенных Штатов. Было в нем что-то прямое, открытое и непритворное, что сразу выделяло его из числа прочих дипломатов. Впрочем, Уильям Додд никогда ранее не занимал дипломатических должностей и, как говорили, принял предложение стать послом в Берлине лишь по горячему настоянию своего старого друга Франклина Рузвельта.

Дикс поцеловал руку госпожи Додд: она лежала в шезлонге, закутав ноги в меховое одеяло. Ее скуластое худощавое лицо с глазами василькового цвета слегка зарумянилось.

— Вы похудели, мистер Дикс! — сказала она, окидывая его заботливым взглядом — Откуда вы прибыли?

— Из Мюнхена, — ответил он. — Последнее время у меня много работы, госпожа Додд. Известное дело — куришь больше, чем спишь.

— Да, да, сон особенно важен, мистер Дикс, — склонила набок голову госпожа Додд, и выражение ее голубых глаз стало еще более невинным. — Но я бы не сказала, что вы стали хуже выглядеть... — Она обернулась к Марте и, подчеркивая каждое слово, спросила: — Ты не хочешь покататься, милая? Думаю, что твой брат на озере.

Марта немного насупила брови и слегка прикусила губу, но тотчас заговорила с явным оживлением:

— Да, мама, но прежде мне бы хотелось представить... Вольфа господину Галлахеру. Считаю, что они оба извлекут пользу из этого знакомства.

И она объяснила ньюйоркскому адвокату, кто

такой Дикс, точно назвав его должность. Потом вскользь бросила Диксу, не глядя ему в глаза: „А вы уже знаете кое-что о господине Галлахере“, сделала всем роскошный книксен и, с очаровательной улыбкой повернувшись на одной ноге, ушла.

Дикс не сумел скрыть своего удивления и досады. Заметив это, Додд обратился к адвокату и самым серьезным тоном объявил, что господин Дикс — желанный гость посольства и добрый приятель всей семьи.

Галлахер с любопытством наблюдал за Диксом. Адвокату было около шестидесяти. Плешивый, некрасивый, с мясистыми ушами и носом, он был из числа тех анемичных и внешне невзрачных мужчин, в которых порой скрыты непостижимые источники энергии, остроумия и жажды жизни.

Додд и Галлахер стояли рядом, облокотившись о перила террасы. В пустых шезлонгах лежали газеты и какие-то бумаги, должно быть, доклады или бюллетени. Поблизости находилось трое молодых людей в спортивной одежде, относительно которых Дикс предположил, что они из окружения Пьера. Самого же Пьера нигде не было видно.

Поговорили о погоде, об условиях в отеле, посмеялись над каким-то важным нацистом, который требовал выделить для своих пятерых детей специальное место на катке. Потом Галлахер бросил на Дикса живой взгляд:

— Вы первое официальное лицо, с которым я имею удовольствие встретиться в Германии. Если вы можете, так сказать, послужить мне единицей измерения, прогнозы на успех моей миссии складываются довольно-таки оптимистично.

Додд объяснил, что Галлахер является представителем недавно образованного комитета спасения подсудимых Лейпцигского процесса. „Так вот что

за птица этот гость из-за океана!.. Должно быть, весьма посредственный адвокат, если связался с какими-то общественными комитетами и пустился в странствия по белу свету, чтобы спасти коммунистов..." Он украдкой осмотрел его костюм, заметил малоподходящий для данного места галстук-бабочку и сказал любезно:

— Не затрагивая юридической стороны вопроса, могу уверить господина, что все возможное и не вступающее в противоречие с законом будет сделано. Как-никак мы государство с правовым статутом и, полагая, доказали это именно Лейпцигским процессом.

— Скорее его окончанием, чем началом! — мягко, весьма вежливо возразил ему Галлахер, элегантно склонившись в его сторону.

Дикс промолчал, а один из юношей, стоявших поблизости, подхватил с нескрываемой иронией:

— Конец венчает дело!

Дикс оставил без внимания эту реплику, хотя она его и задела.

— И если подсудимые находятся еще в тюрьме, — продолжал Дикс, повернувшись к Галлахеру, — то это делается не ради каприза тех или иных лиц, а главным образом, чтобы уберечь их от возможных нежелательных эксцессов со стороны некоторых экстремистских элементов.

Заинтересованные этими словами, молодые люди подошли ближе к собеседникам. Вглядевшись повнимательнее, Дикс припомнил, что встречал их в посольстве в обществе брата Марты. Это были отпрыски богатых американских и английских семейств, занимающиеся журналистикой, путешествиями и критикой буржуазного строя. Диксу показалось несколько необычным, что Додд не счел необходимым

представить их ему, тем более, что один из них так бесцеремонно вмешался в разговор.

— Это старый избитый трюк, господин Дикс, — заметил второй юноша, — светловолосый, веснушчатый малый, хрящеватый нос которого покраснел от сильного солнца. — Чаще всего произвол по отношению к отдельным лицам и целым народам совершается якобы во имя их блага.

Госпожа Додд беспокойно задвигалась в кресле.

— Джонни, мне хотелось бы, чтобы ваша мать услышала ваши речи...

— Вряд ли она испытывает подобное желание, — ответил юноша.

Галлахер тихо засмеялся и затем обратился к Диксу.

— А не представляет ли опасности то обстоятельство, что мнение этих элементов, как вы изволили выразиться, станет решающим в судьбе Димитрова?

— Не более чем для вас, в Америке, существует опасность превратить линч в государственную политику, — отпарировал Дикс.

Галлахер и Додд переглянулись, обменявшись легкими снисходительными улыбками.

— О, от этого не застраховано даже такое демократическое общество, как наше, — сказал Галлахер. — Не так ли, профессор? Вы историк и, полагаю, сможете опровергнуть мое мнение?

Додд замахал своими длинными руками.

— Увы, думаю, что не смогу!

Воцарилось молчание. Дикс чувствовал, что теряет самообладание. Он искренне сожалел, что не последовал за Мартой в ее скрытый от чужих глаз уголок. Поведение Додда казалось ему все более странным и необъяснимым. Очевидно, за последние две недели произошла перемена не только с дочерью, но и с отцом. Посол всегда отличался оригинальными взгля-

дами, но сейчас у Дикса было чувство, что этот человек зашел слишком далеко. То, что он взял с собой Галлахера и терпел в своей компании праздных болтунов, представлялось весьма знаменательным. Неужели история с Димитровым повлияла и на него?

Дикс огляделся по сторонам. Терраса начала пустеть, но внизу, у озера, было еще оживленно. Юноши и девушки в пестрых спортивных костюмах гонялись друг за другом, боролись на снегу. Со стороны ближайшей лыжни то и дело стремительно вылетали лыжники, и тогда слышались крики, звонкие удары лыжных палок, раздавались резкие, скрежещущие звуки внезапно останавливающихся лыж. Дикс напрасно пытался отыскать Марту в этой толпе, его раздражение росло. Могла бы она в это утро отказаться от катка! Достаточно того, что она вовлекла его в столь неприятный и бесполезный разговор, а в довершение, оставив одного, предпочла компанию своего нахального ухажера... Но тут ему пришло в голову, что, в сущности, он сам толкнул ее на этот поступок. Вспомнился пустой коридор перед рестораном и ее возбужденное дыхание, и он понял, что оснований сердиться на кого бы то ни было, кроме как на самого себя, у него нет.

— Предположим, что и в самом деле таковы были соображения вашего правительства, — услышал он снова мягкий, раздражающе медленный, отчетливый голос Галлахера, напоминавший своей интонацией речь учителя иностранного языка. — В данном случае гораздо важнее другое: можно ли считать, что германские власти разрешат немедленный выезд трем болгарам, если какое-либо правительство выразит готовность выдать им въездные визы?

— Думаю, что да! — ответил Дикс.

На несимпатичном лице Галлахера появилось хитрое самодовольное выражение.

— Такое правительство уже существует, господин Дикс, — сказал он, посматривая на Дикса с подчеркнутой благосклонностью.

Дикс недоуменно повел бровями.

— Вот как? Не знал... Какое же именно?

— Советское. Я узнал об этом два дня назад лично от русского посла в Берлине.

Дикс несколько театрально развел руками.

— Вот уж никак не ожидал, что вы меня поставите в тупик.

Вокруг засмеялись полуучтиво, полуоблегченно, а молодые люди, не найдя, что возразить, вскоре молча отошли.

Тогда Галлахер заговорил о большом размахе борьбы в защиту Димитрова, которая велась по всему миру и активнее всего во Франции и Англии. Он рассказывал спокойно, но живо, образно, называл имена известных людей науки и искусства, приобщивших свои усилия к мощной международной кампании, приводил цифры о количестве митингов и демонстраций протеста. Дикс заметил, что Додд слушал его внимательно, время от времени кивая головой, тогда как его жена, устроившись в шезлонге, подставляла лицо под последние лучи солнца. Диксу подумалось, что она, должно быть, не слушает разговора, но каково же было его удивление, когда он услышал есслегка взволнованный голос.

— Мне бы хотелось познакомиться с этим человеком. Полагаю, он будет интересен.

Словно только того и ожидавший, Галлахер принял-ся говорить о необыкновенных качествах неизвестного дотоле болгарина, о его исключительной интеллигентности и культуре, самообладании и чувстве собственного достоинства, поразивших не только его друзей, но и врагов. „Сейчас вспомнит о Геринге!“ — с досадой подумал Дикс, взволнованный тем, что происходило

на террасе, и особенно нелепым совпадением между возложенной на него вчера задачей и сегодняшним разговором. Но Галлахер продолжал восхвалять качества Димитрова, и Дикс вновь почувствовал глухое раздражение.

— Вы, наверное, были знакомы с ним ранее? — спросил он.

Галлахер покачал головой.

— Никогда его не видел. И даже — позвольте признаться — как и многие в Америке да и в Европе тоже, не подозревал, что среди коммунистов могут быть такие замечательные люди. Выводы мои основаны главным образом на впечатлениях от этого процесса, но этого недостаточно. — И, несколько смущаясь, добавил с улыбкой: — Впрочем, едва ли мне нужно убеждать именно вас — вы наверняка присутствовали на процессе и имеете более яркое представление о Димитрове.

Дикс помолчал.

— Ошибаетесь, я не был там.

— Да-а... — поспешил заметить Додд. — Этим процессом занимались другие люди, Лео. Господин Дикс не имел с ними ничего общего.

— И слава богу! — отозвалась госпожа Додд, чье лицо теперь лишь на одну треть было освещено солнцем. — Чем меньше человек связан с подобными режимами, тем лучше... Думаю, пора уходить, Уильям.

Солнце совсем скрылось за зданием, и на террасе стало холодно. Госпожа Додд откинула одеяло и попыталась встать. Дикс смотрел на нее рассеянно и с некоторым запозданием догадался подать руку. Поднявшись, супруга посла с чарующим выражением лица и голосом ангельской невинности произнесла:

— Благодарю вас, мистер Дикс!.. Надеюсь, вы еще не начали проклинать ту минуту, когда решили прийти сюда. Будете ли вы в состоянии выдержать и обед в такой компании?

Додд рассмеялся добродушно, а Дикс энергично возразил против ее подозрений, заявив, что разговор доставил истинное удовольствие и что он готов помочь господину Галлахеру в его благородной миссии.

— А я бы вам посоветовала держаться в стороне! — прервала его госпожа Додд, семена по широкой террасе...

Сразу же после обеда Дикс уехал. Марта проводила его до вокзала. Во время обеда он несколько раз встречал ее беспокойный взгляд, и это слегка озадачило его. Сердилась ли она еще на него?.. И вообще, что это такое — каприз или нечто иное, чего он пока еще не может уяснить?

По дороге к станции они молчали или же обменивались ничего не значащими фразами. Когда подошел поезд и пассажиры начали садиться в маленькие вагоны, Марта прижалась к Диксу и прошептала:

— Вы были чудесны, Вольф... Благодарю вас за все.

Он смотрел на нее в изумлении. Раздался гудок локомотива, и Дикс пробормотал в смущении:

— Я рад, если вы в самом деле...

Тогда она поднялась на цыпочки и быстро, но с большим чувством поцеловала его в губы.

— Позвоните мне в Берлин! — бросила она и, грациозно махнув рукой, исчезла в толпе.

Несколько секунд он остолбенело стоял на месте, провожая ее взглядом, потом, улыбнулся, повернул голову и, ухватившись за поручни, одним прыжком очутился на площадке вагона первого класса.

10.

Дни тянулись медленно, убийственно монотонно. Минуло рождество, но в тюрьме не произошло никаких

изменений. Никто не приходил к Димитрову, писем не приносили, всячески затягивали исполнение любых его просьб. Время от времени он спрашивал Клуге, что случилось: не заболели ли все его начальники, а может, взяли да ушли разом в отпуск. Но в ответ старик лишь неопределенно покачивал головой и спешил уйти. Однажды наведаясь доктор проверить, как дела с бронхитом, но когда Димитров и ему выразил свое удивление и недовольство, Штайнер лишь презрительно отмахнулся — до Нового года все, должно быть, останется по-прежнему, в эти последние дни старого года трудились, как ослы, лишь такие, как он; умные люди давно отдыхали за городом или в шикарных горных отелях.

А Димитров по-прежнему сидел в одиночной камере, терпеливо ожидая окончания старого года. Он слишком хорошо понимал, что дело далеко не в этих нескольких полурбочих, полупраздничных днях. Гитлеровцы шли на всяческие проволочки, и, поскольку они так и не приняли никакого решения, время предпраздничных отпусков было им на руку. Вот почему Димитров не переставал направлять письмо за письмом по разным адресам. Он продолжал настаивать на незамедлительном свидании с близкими, требовал поместить его в одной камере с Таневым и Поповым. Еще в начале декабря письмо с подобной просьбой он послал Бюнгеру. Ответа не последовало... Писал он знакомым и друзьям в Советский Союз, Англию и Францию, писал письма короткие и пространные, и вскоре стопка бумаг и конвертов, принесенных Клуге, уменьшилась вдвое.

И все же это занятие не могло полностью поглотить его время. Оставались долгие часы, когда он невольно отключался от ежедневных забот, и воображение переносило его в давно прожитые годы.

Погода располагала к такому настроению. На второй день рождественских праздников повалил снег и шел не переставая три дня и три ночи. На тюремное окошечко как бы надвинулось густое облако, но в камере от этого стало светлее и вроде бы уютнее. Едва ли прибавили пару, но Димитров уже не столь жестоко страдал от холода: казалось, пушистая пелена снега, облепившего стекла, принимала его в свои объятия, согревала мерзнувшие пальцы.

И то ли вид этой бесконечной, покачивающейся за окном пелены, то ли само окно, наполовину засыпанное снегом, напоминали ему о чем-то родном и давно забытом, но так или иначе незаметно для себя он в мыслях переносился в мир своего детства. Он видел двор их маленького домика, оконные карнизы, покрытые чистым, нетронутым снегом, вспоминал особый свет в комнатах зимой и тепло очага, слышал голоса братьев, бегавших по улице. Но из многих впечатлений далекого прошлого сильнее всего в его сознании запечатлелось одно такое утро с обилием снега, чистым до боли в глазах, с чем-то тихим и кротким, что витало в воздухе и от чего хотелось быть бесконечно добрым.

Наверное, это случилось в дни рождественских каникул, потому что он видел себя в кухне: он стоял у окна и смотрел во двор. Вошел отец и принес половину поросенка, завернутого в толстую розовую бумагу. Подал жене и прежде чем выйти сказал, как всегда, глухо, неразборчиво: „Киро-портной нынче утром выплевал целую лохань крови...“ Какая-то странная слабость разлилась по телу десятилетнего мальчика. Испуганный, потрясенный, он уставился на мать. Эту картину время до сих пор не стерло в его памяти. Мать застыла у стола, держа в руках пакет с мясом. После ухода отца дверь в их маленькую кухню осталась приоткрытой, и с улицы в дом волнами вливался холодный во-

здох вместе с белым, слепящим глаза светом. Георгий смотрел на мать, а та стояла посреди комнаты, вся облитая этим светом, в глубокой задумчивости, отрешенная. Именно тогда, в те короткие секунды, он почувствовал, как глубоко постиг ее душу и разгадал ее безгрешные светлые мысли. Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами и с какой-то непонятной физической осязаемостью почувствовал, что они — это единое целое, что то, что испытывает он, в тот же самый миг испытывает и она, и что на всем белом свете нет другого человека, который мог бы откликнуться на только что услышанную новость так, как откликнулась она. Вот почему, когда, стряхнув с себя задумчивость, мать увидела его сидящим на лавке, она не сказала ни слова, а сняв фартук, вышла с мясом в руках. И Георгий уже знал, что она направилась в многочисленную семью бедного портного и что на обед у них самих будет лишь фасолевая похлебка да компот из чернослива.

Сорок лет прошло с тех пор, он исколесил Европу вдоль и поперек, но стоит выпасть глубокому снегу, от которого в комнате свет сразу делается таким белым, где бы он ни был, перед его глазами тотчас возникает та картина, и в памяти оживает чистое, щемящее душу воспоминание о матери, а сердце переполняется нежностью и сыновьей благодарностью...

И так как в тюрьме он часто думал о ней, вспоминал тысячи незначительных, но милых мелочей из прошлого, а может, потому, что за окном продолжал падать снег, забывалось, что он находится далеко от Болгарии, от их маленького домика, приютившегося на улице Ополченской, — одним словом, Димитров не удивился, когда ему, наконец, сообщили, что разрешено свидание. Он так долго был в мыслях рядом с матерью, что воспринял эту весть, как вполне естественную: да,

вот сейчас он увидит ее, свою дорогую маму, и коснется ее жилистой руки.

Как всегда, она пришла с Магдаленой, его сестрой. Они ожидали его в неприглядной комнате свиданий, где стоял старый облупленный стол и красовался портрет фюрера, а с потолка свисала голая электрическая лампочка. Мать и дочь стояли друг подле друга, обе в черном, мать — ниже ростом, в потертой шерстяной шали, наброшенной на голову, в своем длинном стареньком пальто с воротником из козьего меха.

Димитров заметил на ее шали жемчужные капельки растаявшего снега и ощутил знакомое трепетное волнение. Так было при каждой встрече, начиная с того ноябрьского дня, когда он увидел ее впервые за долгие десять лет разлуки... Он уже знал, что она отправилась по странам Европы бороться за его оправдание и освобождение. Сестра успела кое-что рассказать о ее встречах с известными писателями и политическими деятелями в Париже и Лондоне и об участии в митингах протеста. Это известие наполнило его гордостью, однако — как ни странно — не удивило. Но когда она, наконец, прибыла в Лейпциг и встретила с ним, старая боль пронзила его грудь. Мать выглядела не только ужасно, неузнаваемо постаревшей, нет, она казалась отчаявшейся, потерявшей силу духа. Он обнял ее, прижал к груди, сквозь одежду почувствовал под рукой высохшее, костлявое тело матери, уловил тот характерный запах ее одежды, который не мог позабыть все эти годы. И тогда по душевной теплоте, что излучала мать, и особенно по быстрому и, как прежде, сильному рукопожатию понял, что ошибся в своих первых впечатлениях. Они заговорили, и, хотя ее голос стал тише и она разок-другой приложила краешек платка к глазам, Димитров уже знал, что, как бы жестоко жизнь ни изменила ее внешне, мать не утратила ни веры в правду, ни смелости.

Он уже с трудом припоминал, о чем именно они тогда говорили, да и сам разговор, вероятно, был недолгим, но в памяти Димитрова сохранилось несколько фраз, несколько простых слов о смерти Любы и особенно запомнилось спокойное и мудрое признание, которое она сделала прежде чем уйти:

— Ничегошеньки не поняла я из разговоров в суде, но я слышала, как говоришь ты с судьями, и уразумела одно — не отпустят они тебя... Но коли избрал ты такой путь, по нему и ступай.

В этих словах — вся она, такой он ее знал, этот образ он хранил в тайниках своей души с самых ранних лет...

С болью в сердце Димитров всматривался в лицо матери. Она казалась исхудавшей, озабоченной, морщинистые щеки впали еще больше.

— Не больна ли ты, мама? — спросил он и коснулся ее замерзшей руки.

Старушка улыбнулась — лицо ее покрылось сетью морщин.

— Слава богу, Георгий, здорова я. Ты о себе подумай... Что, кашель еще не прошел?

— Не смогли мы, брат, ничего тебе принести, — проговорила сестра. — Я прямо из Берлина, порастратилась, да к тому же рождество — все закрыто!

У нее было крупное скуластое лицо. Все в доме считали ее исключительно здоровой и выносливой. Димитров задержал на миг взгляд на покрасневших от холода щеках сестры и, заметив затаенную грусть в ее глазах, догадался, что, пожалуй, вести из Берлина будут тревожные, но в данную минуту его больше волновало нечто иное, нечто более значительное.

— Сводили тебя в церковь, мама? — спросил он.

Бабушка Парашкева несколько смутилась от этого вопроса.

— Сводили.

— И как, понравилось?

Она помолчала немного, прежде чем ответить:

— Да, хорошо. Церковь большая, богатая. И пели замечательно.

И, посмотрев на сына выразительными темно-голубыми глазами, добавила тихонько:

— Благодарю тебя, сынок, что подумал обо мне. Магдалена призналась, что это ты надоумил ее насчет церкви.

— Мама так продрогла... — начала было нарочито грубоватым тоном сестра, но Димитров, не обратив внимания на ее слова, с улыбкой сказал матери:

— Рад за тебя... Нынче отпразднуешь два рождества.

— Смотри, как повезло! — Бабушка Парашкева засмеялась.

— Не веришь, что вернешься к рождеству домой?

Мать сбросила с головы шаль и едва слышно вздохнула:

— Верю, Георгий. Одна надежда только нам и осталась.

И по этому вздоху, быстрым взглядам, которыми обменялись мать с дочерью, и особенно по внезапному молчанию, последовавшему вслед за этими словами, Димитров окончательно понял, что новости из Берлина были неутешительными и что Магдалена потому-то и казалась такой задумчивой и озабоченной. Он посмотрел на нее с приветливой улыбкой и спросил, что хорошего в столице. Умышленно придал голосу беззаботный тон — хотел ободрить сестру, если и в самом деле вести были неприятными. Но вместо Магдалены заговорила мать:

— Через неделю собираются тебя выпустить, Георгий. Так сказали Лине там, в...их управлении.

— Вот видишь, значит, можешь спокойно рассчиты-

вать, что к рождеству будешь дома! — сказал он.

Лицо сестры еще больше помрачнело.

— Обещают, но как им поверить! Прямо-таки взъелись на тебя. Там на меня такими глазами смотрели, будто мы их ограбили... И все долбят, что недовольны приговором.

Он поинтересовался, с кем же именно встречалась Магдалена в Берлине и что ей конкретно пообещали.

— В министерство внутренних дел мы ходили с Бояном, — ответила сестра. — Попали к какому-то доктору Эрбе, секретарю. Он и сказал, что правительство еще не занималось твоим вопросом, но сразу же после Нового года примет решение.

— Ну, ничего, нужно подождать, — улыбнулся Димитров. — Как видно, здесь от рождества до Нового года никто не работает.

Но он заметил, что Магдалена, услышав эти слова, по-прежнему держалась скованно. Явно было сказано не все, и он уже стал догадываться, в чем дело.

— А в ... посольство ходили?

Сестра сперва отвела взгляд, а потом посмотрела ему прямо в лицо:

— Послушай, брат, ничего не выйдет с нашим посольством! Посол не пожелал нас принять, а один из секретарей прямо сказал, что нечего зря терять время. И хотя вопрос еще не решен, по всему видно, что тебе не дадут ни паспорта, ни визы на въезд в Болгарию. — И, переведя дыхание, волнуясь и поглядывая искоса на тучного фельдфебеля, что, нахмурясь, важно сидел за столом, торопливо добавила: — Не пора ли подумать о советском подданстве?

И Магдалена обернулась к матери, ища у нее поддержки. Тогда бабушка Парашкева посмотрела на сына тем проникающим до самых глубин его существа взглядом, который издавна предназначала только ему и кото-

рый без слов говорил все, что она думала и чувствовала. Димитров поразился. Он был уверен, что для матери важнее всего, чтобы он вышел из тюрьмы. Однако сейчас стало ясно, что в душе она хотела не только видеть его свободным, но и встретить на родине, дома, после стольких лет скитаний на чужбине... Так вот каково оно, материнское сердце — из дальних далей, сквозь толстые тюремные стены и снежные вихри оно отозвалось на странные и казавшиеся ему порой такими непонятными мечты и настроения, что владели им уже несколько дней. Лишь теперь, заглянув ей в глаза, он увидел, как там отразилось, будто в зеркале, его собственное внезапное стремление попасть в отчий край, и он с удивлением отметил, сколь глубоко в нем самом укоренилась мысль о родине.

Он положил руку Магдалене на плечо и сказал:

— Это мы всегда сможем сделать, сестра. Это наш последний шанс и притом самый надежный. Но сейчас, думаю, следует подождать. Пройдут праздники, тогда решим.

Краешком глаза он взглянул на мать: она в знак согласия кивнула быстро и как бы успокоенно, и тут он понял, что именно этих слов она и ждала от него.

11.

В сущности, в этих словах было немало истины. Легче всего было попросить политическое убежище в Советском Союзе. До ареста весной в Берлине он продолжительное время жил в Москве и в качестве болгарского политического эмигранта пользовался правами советского гражданина. Не представляло никакой трудности направить просьбу советскому правительству подтвердить эти права. Наверняка он получит ско-

рый и положительный ответ. Но все же что-то удерживало его от такого шага.

С тех пор как Димитров получил ответственный пост в Исполнительном комитете Интернационала, он избегал ставить знак равенства между своей деятельностью и советским правительством. Подобное отождествление было чревато рядом неудобств и для советской стороны, и для самого Коминтерна. По той же причине во время своих зарубежных поездок он отказывался от охраны, которую могли обеспечить ему советские разведывательные органы, стремясь не бросить и малейшей тени на авторитет международного коммунистического движения. В данный момент прямое и немедленное вмешательство Москвы в его судьбу могло бы поставить в невыгодное положение Советскую страну.

Но это было не все. Фактически Димитров так и не знал, лишен ли он официально болгарского подданства или же считается временно покинувшим родину. Пока этот вопрос не прояснится, любой советский шаг на дипломатическом поприще мог быть подвергнут атаке с точки зрения международного права... Вот каковы были доводы и соображения, которые побуждали Димитрова не торопиться с получением советского гражданства.

И все же главная причина была в ином, и Димитров до конца осознал ее лишь после свидания с матерью. Он понял, что в глубине души давно уже решил вернуться в Болгарию и мечтал уже только об этом.

За долгие годы эмиграции он не раз вспоминал об отечестве, о родном доме и близких, но напряженная работа, постоянные разъезды и огромная ответственность быстро рассеивали сентиментальные ностальгические настроения. В последние же дни он почувствовал, как в нем произошла крутая, серьезная перемена.

Он отдавал себе отчет в том, что решающим образом повлиял на это процесс.

Димитров никогда не предполагал, что злобные нападки, высказанные против Болгарии даже ее явными, ослепленными ненавистью противниками, могут пробудить в его душе такой сильный гнев и негодование, нанести такие глубокие раны его самолюбию. Он всегда называл себя болгаринoм, но прежде всего был коммунистом-интернационалистом. И тем не менее стоило в зале прозвучать обидному, несправедливому или просто снисходительному слову в адрес его земли и народа, как в глазах его вспыхивал огонь и он произносил пламенные речи в защиту своей родины, в защиту своего народа, которым он гордился, обрушивал на головы клеветников потоки убийственных доводов. Анализируя свое поведение в суде, давая ему трезвую оценку, он даже удивлялся, откуда брался у него этот патриотический подъем. Впрочем, найти ответ было нетрудно — в тяжелые годы странствий он, сам того не сознавая, всюду носил в сердце образ Болгарии, страдал и болел душою за нее. Чудовищное обвинение фашистов и жестокая насмешка над его человеческим и национальным достоинством пробудили в нем дотоле неиспытанную тоску по родине!

Он полагал, что новости, принесенные Магдаленой, придадут мыслям деловое, практическое направление, но ошибся. Он лежал на узкой койке, наблюдая за медленно падающим снегом, и память уносила его к давно отшумевшим годам. Ему виделся их маленький покосившийся домик, то укутанный толстой пеленой снега, то укрытый листвою деревьев; неожиданно припоминались лазы в заборах, о которых знали только он да братья, дорогие детскому сердцу тайные ребячьи уголки, где провел он не одну сладостно-трепетную минуту... Порой в его ушах начинали отчетливо зву-

чать различные звуки, которыми был полон дом, — вот весенний теплый ветер проскрипел калиткой и в своем буйном порыве распахнул ставки окон, вот раздался стук капель косого осеннего послеполуденного дождя, слышался веселый звон металлической посуды на кухне, где уже готовились к большому празднику. В нос ударил острый запах мокрого кирпича, которым мать и сестра отскребали дощатый пол, а от очага потянуло перехватывающим дыханием ароматом свежеспеченного хлеба. Потом он подумал о Любе...

Лучшие годы жизни прошли в этом доме. Не раз возвращался он сюда с трепетным чувством в груди, не раз, гонимый властями, опасаясь жестокой расправы, он поспешно покидал его и не знал, вернется ли вновь под родимый кров. И странно, когда последний раз шагнул за порог, совсем не думал, что предстоит такая долгая разлука. Был уверен, что возвратится скоро — и уже навсегда, счастливый, окрыленный великой победой народа...

Он сел на постели, закурил сигарету. Стоило в мыслях вернуться к восстанию, как спокойствие и умирание моментально исчезали и на смену приходило знакомое, не покидавшее его с тех пор чувство тревоги...

Много раз он перебирал в памяти каждый час, каждую минуту тех далеких дней конца сентября двадцать третьего года, анализировал каждое свое слово и каждый поступок; сколько раз и наяву и во сне рассуждал о правде и праве, о пользе и ошибках восстания. Холодным рассудком революционера-марксиста он давно ответил на все жгучие вопросы, но как человек и вождем восстания и поныне не успокоился. Болел всем своим существом за судьбы людей, попавших в застенки. Сознание угнетала мысль, что, согласившись покинуть Болгарию, он совершил нечто противное своему характеру. С годами боль сомнения то крепла в нем, то осла-

бевала, но он знал, что она останется навсегда, до тех пор, пока он жив.

И каждый раз вместе с размышлениями о том трагическом времени в памяти возникали и события последней ночи на болгарской земле... Было ясно, что повстанцы разбиты и восстание подавлено. Поздно вечером, когда связные разошлись, в одном из домов на краю села собрался штаб. Уже не вспомнить, кто первый заговорил о необходимости скрыться и упомянул слово „эмиграция“. Это слово прозвучало подобно выстрелу в маленькой комнате. И сразу настала мертвая тишина, взгляды людей устремились к нему. Потом кто-то опять взял слово и предложил, не мешкая, переправиться в Югославию. Димитров увидел, как открытый лоб Коларова внезапно покрылся морщинами. Они переглянулись с Коларовым и одновременно резко отвергли предложение. Заговорили о другом, и, может быть, жизнь его пошла бы совсем иным путем, если бы к полуночи из Софии не прибыл курьер, доставивший решение Центрального Комитета, которому они должны были подчиниться.

Двинулись той же ночью. Их вел местый житель, старый молчаливый крестьянин. Бесшумно прошли по склону горы и вышли на хребет. Было полнолуние, и густой лес был залит мягким, безбрежным светом. Димитров смотрел на спокойную красоту природы и со все возрастающим чувством недовольства спрашивал себя, куда он идет, имеет ли право покинуть свой пост. Ему было невыразимо тяжело, ноги едва слушались, и чем ближе они подходили к границе, тем труднее и мучительнее давался каждый шаг.

Наконец остановились на небольшой полянке, чтобы дожидаться основной группы повстанцев, с которой и должны были переправиться в соседнюю страну. И тогда Димитров неожиданно заявил, что он дальше

не пойдет, что останется в Болгарии. Было тихо, лишь ветер шелестел листвою. Прокричала сова, и вновь установилась плотная, давящая тишина. Никто не проронил ни слова, даже Коларов на этот раз промолчал. Димитров склонился к проводнику. Облитый серебряным лунным светом, тот лежал на боку, оперевшись на локоть. Димитров и теперь как живого видел перед собой этого старика.

— Послушай, я больше не сделаю ни шагу... Не могу так.

Проводник молчал. Димитров склонился еще ниже, к самому его лицу.

— А ты покинешь Чипровцы, если там станет похуже, чем при турках?

Тогда старик зашевелился и медленно поднялся:

— Ты на меня не смотри! Я человек простой. Послали — ну и проведу вас, вот и вся недолга. Одно скажу — мертвых не вернешь, а тот народ, что уцелел, от вас дела ждет... Пошли встречать остальных, скоро светать начнет.

Он ничего не добавил более, и Димитров умолк, убежденный его простыми, неоспоримыми доводами...

С годами образ старого проводника побледнел в воспоминаниях, но слова старика и то, как он подымался с земли, навсегда врезались в его память. Что случилось потом с этим мудрым старцем? Не раз Димитров спрашивал себя и о нем и о сотнях других мужчин и юношей, с которыми встречался он в те бурные дни. О них с горечью думал он в долгие годы эмиграции, их судьба не давала ему покоя.

И вот в глухие, зимние часы, когда он чувствовал себя словно погребенным под огромным сугробом снега, в памяти вновь возникли их лица, и старая, начавшая было заживать в сердце рана опять напомнила о себе. Но оттого ли, что им овладели воспомин-

нения о Болгарии, или же потому, что процесс изменил его, боль, которую он испытывал, была уже другой, особенной. Остались мучительные вопросы права и ответственности, но вместе с тем крепло нетерпеливое желание громким голосом рассказать о восстании и обо всем, что произошло тогда и позднее, публично взять на себя ответственность за тяжелые, хотя и неизбежные жертвы.

Он встал, прошелся по тесной камере, разминая продрогшие плечи. Опять вспомнил, с каким ожиданием и трепетной надеждой посмотрела на него мать на прощанье, и нежно улыбнулся. „Я вернусь, мама! Ради тебя и ради всех тех, кто остался лежать навсегда на берегах Искыра и Огосты. И тени недоверия не должно остаться к героям. Они заслуживают оправдания: того требует их память. Так кто же другой сделает это?..“

Он сел за стол, достал чистый лист бумаги и взял ручку. На несколько секунд сосредоточенно свел брови, а затем вывел крупным энергичным почерком:

„Премьер-министру г-ну Н. Мушанову — София.

Ввиду того, что я намерен вернуться на родину и заниматься политической деятельностью, повторяю свое публичное заявление перед германским судом, а именно: после окончания процесса о поджоге рейхстага вернусь в Болгарию, чтобы бороться за отмену приговора, вынесенного мне в связи с Сентябрьским восстанием 1923 года. А по сему настаиваю на обеспечении свободы въезда, личной безопасности и гласности суда. Прошу решения правительства. Г. Димитров“.

Написав текст телеграммы, он откинулся на спинку стула. Ему не имели права отказать в этом требовании — ему необходимо было высказать и защитить свою точку зрения не только относительно восстания, но и того сурового урока, который всем следовало извлечь

из него. Да, он будет совершенно откровенен — не пощадит и себя. (И этому его научил только что закончившийся процесс!). А потом там, в Болгарии, пусть подтверждают вынесенные ему в прошлом приговоры. Главное, чтобы люди узнали правду.

Он посмотрел на часы. Приближалось время ужина, и Клуге вот-вот должен был прийти. „Попрошу его отправить, — решил Димитров. — Завтра телеграмма окажется в Софии, и правительство вынуждено будет сказать свое слово!“

Он подошел к окошечку, открыл его и осторожно вдохнул морозный воздух. В груди почувствовал совсем слабую боль — не такую, как три дня назад, и с признательностью подумал о докторе и его порошках.

12.

Сразу по возвращении в Берлин Дикс подготовил письма и разослал их указанным Герингом членам кабинета. Он был уверен, что на первом же заседании после Нового года совет министров примет предложение о перемещении Димитрова в концлагерь, и на этом дело будет завершено.

Но события развивались совершенно непредвиденным образом.

Прежде всего на новогоднем приеме у Гинденбурга советский посол подтвердил то, что Дикс слышал от Галлахера, — Россия готова дать въездные визы трем болгарам, если германское правительство их освободит. Дикс узнал эту новость от министра иностранных дел Нейрата. Барон был доволен, и в то же время встревожен. Дикс его понимал. Сейчас на Нейрата и его ведомство падала вся ответственность — выслать из страны людей без определенного подданства не такой

уж простой акт, даже если взглянуть на это только с точки зрения международного права.

И все же рейхсминистр был доволен — он получил новый серьезный аргумент в пользу своего мнения о необходимости любой ценой выслать Димитрова и двух других болгар за пределы Германии. Он даже поделился с Диксом идеей в ближайшее время встретиться с Гитлером и попросить его о срочном и окончательном решении вопроса.

Состоялась ли эта встреча, Дикс так и не узнал. Утром первого января по городу с быстротой молнии распространился слух, что поздно ночью между фюрером и Герингом произошло острое столкновение, завершившееся грубыми взаимными обвинениями и угрозами, в результате чего последовала отставка прусского премьер-министра. Утверждали, что к этому было два повода: упорное несогласие Геринга с намерением Гитлера и Геббельса подписать указ об объединении всей территории Германии и о ликвидации прусской администрации и, во-вторых, старый, обострившийся за последнее время религиозный конфликт между двумя нацистскими вождями. Геринг считал идею фюрера о введении в Германии культа бога Вотана кощунственной и несерьезной и накануне Нового года на одном католическом собрании самым язвительным образом высказался против нее.

Толчком к ссоре, вероятно, послужил именно этот поступок Толстяка. Так или иначе, явно наступил серьезный разрыв, если Гитлер не счел нужным послать Герингу новогоднюю поздравительную телеграмму.

Дикс встретил весть о скандале с интересом, но без особого удивления. Ни для кого не было тайной, что среди партийной и правительственной верхушки существовали две группировки, во главе которых стояли

Геринг и Геббельс. Эти два наиболее близких к фюреру нациста не выносили друг друга и постоянно искали повода скомпрометировать один другого и завоевать благосклонность Гитлера. Попеременно — то первый, то второй — брали верх и на какой-то период становились любимцами фюрера, что моментально отражалось на всей пирамиде их сторонников и приверженцев, вплоть самого незначительного.

По всему было видно, что новый, 1934 год начался счастливо для министра пропаганды и крайне неудачно для прусского премьер-министра. Дикс имел серьезное основание встревожиться по этому поводу — едва ли ему в своей карьере можно было рассчитывать на поддержку иного высокопоставленного нациста, кроме Геринга. Но он слишком хорошо знал людей и порядки Третьей империи и потому сохранял самообладание. Он располагал не только данными, но и личными впечатлениями о тайном глубоко скрываемом страхе Гитлера перед своим самым умным, самым хитрым и самым наглым единомышленником — хромым и уродливым министром пропаганды. Он знал, что фюрер побаивался проявить к нему слишком откровенное расположение, дабы не нарушить равновесия и не дать тому козыри в руки. Вот почему Дикс почти не удивился, когда второго января вечером услышал, что Гитлер принес извинения Герингу в присутствии всего руководства партии и заявил, что отказывается от идеи новой религии и временно приостанавливает действие указа о роспуске отдельных немецких ландтагов. О большей победе Геринг не мог и мечтать. И плоды этой победы не заставили себя ждать.

Явно воспользовавшись двухдневным нахождением прусского премьера в немилости, барон фон Нейрат поспешил назначить в своем министерстве совещание, на котором собирался обсудить подробности, касаю-

щиеся высылки Димитрова и его товарищей. И это совещание, на которое был приглашен и Дикс, должно было состояться четвертого января. Тем временем разнеслась новая молва о демонстративном примирении Гитлера с Герингом, и люди Нейрата пришли на встречу порядком-таки сбитые с толку. Дикс воспользовался этой ситуацией и сумел помешать принятию решения.

Он уведомил представителей министерства иностранных дел, что вопрос о Димитрове будет вынесен на обсуждение на первом же заседании кабинета и что, по всей вероятности, там возьмет верх мнение Геринга, согласно которому Димитрова следует отправить в концлагерь.

Во второй половине дня Дикс был вызван в кабинет своего начальника.

Геринг встретил его любезнее чем обычно. Он выглядел возбужденным и вместе с тем внутренне удовлетворенным. Высказав Диксу похвалы и благодарность за достойное поведение на сегодняшней „нелегальной“ конференции, как он иронично называл состоявшееся совещание, Геринг сел напротив Дикса возле низенького столика и поднес Вольфу коробку с сигарами.

Дикс был восхищен оперативной и точной информацией и развеселился, пытаясь отгадать, кто же из верных людей барона сообщил Толстяку подробности о совещании. Срезая элегантным ножичком кончик сигары, Дикс сказал:

— Письма, о которых шла речь в Мюнхене, я отправил еще до Нового года. Полагаю, что они уже попали в руки адресатов.

— Да, да, я видел одно из них, — кивнул небрежно Геринг. — Очень толково составлены.

Это было сказано каким-то рассеянным тоном, как

бы умалявшим значение сделанного, что несколько озадачило Дикса. Неужели вновь завоеванное доверие фюрера отодвинуло на второй план все прежние притязания Геринга? Но, взглянув на него, Дикс тут же понял, что тот боролся со жгучим желанием рассказать о новогоднем инциденте. Дикс признавал, что этого не избежать и что, вероятно, ради этого и вызвал его шеф: пройдет еще минута-другая внутренней борьбы, а потом со всей неудержимостью рухнет поток похвалы, угроз и мрачных острот.

И, действительно, посмотрев на него долгим, испытующим взглядом, Геринг зашевелился в кресле и начал притворно бесстрастным тоном:

— Вы, разумеется, слышали о шумной новогодней неразберихе. Большинство поспешило записать меня в покойнички, и я теперь могу пересчитать их по головам. В числе немногих, кто, я был уверен, не оставит меня, были вы... — Он поморщился и бросил на него быстрый, неожиданно строгий взгляд. — Только не воображайте, что я считаю вас ангелом неподкупности. Просто мне слишком хорошо известно, что значу я для вас и какой шанс для вашей дальнейшей карьеры предоставил здесь, в этом кабинете, два месяца назад... Припоминаете?

Дикс невольно усмехнулся. Во второй раз за последнее время ему напоминали о том памятном дне, хотя и по совершенно различным поводам. Ему припомнилось волнение, с каким Марта говорила об этом случае, и он тотчас испытал в душе приятное чувство. „Надо бы ей позвонить, она, пожалуй, в недоумении, почему я молчу“, — промелькнуло у него в голове. Он всегда удивлялся, каким образом девушке стала известна эта история. Впрочем, она знала ее явно лишь до половины, другая же часть знаменитого диалога, как видно, ей была незнакома...

Геринг тогда, действительно, спросил, не думает ли Дикс в данный момент, что он, Геринг, станет пятым по счету министром внутренних дел, которого переживет Дикс, и Вольф хладнокровно ответил, что примерно так и думает. Тогда новый сановник с искренним удивлением посмотрел на него и пробормотал:

— Гм, однако это следует выбросить из головы! При нашем режиме, в отличие от социал-демократического, министры будут оставаться, а меняться станут их помощники. Любой другой порядок глуп, Дикс, и ваши начальники доказали это. Не возьми мы власть, однажды утром все мы могли бы оказаться под красным сапогом, и сейчас бы в этом зале расхаживали комиссары.

— Пока я возглавлял первое отделение, ничего подобного произойти не могло, господин министр! — сказал Дикс вежливо, но холодно.

Геринг смерил его взглядом:

— Посмотрим, посмотрим! Все о вас говорят то же самое, но я люблю проверять сам.

Позднее, когда они сблизились, он признался, что дерзкие откровенные ответы Дикса доставили ему особое удовольствие именно тем, что были произнесены в присутствии „самоходной афишной тумбы, облепленной партийными лозунгами“ — так Геринг называл штандартенфюрера Хеббе...

Все это промелькнуло в голове Дикса, вызвав в душе смутную тревогу и недоумение. Неужели он и в самом деле позволил себе произнести эти смелые и бесцеремонные слова? Показалось невероятным, что они сорвались с его уст. И так как Геринг напомнил о некогда оказанной поддержке и слишком часто бросал на него испытующие взгляды, Дикс пришел к заключению, что, наверняка, начальник вызвал его не только, чтобы высказать свою признательность за верность или поделиться соображениями о мерах, которые считал

необходимыми принять против поспешившей отречься от него „братии св. Петра“. Пожалуй, все это было лишь поводом, главное же заключалось в другом.

— Благодарю за большое доверие, господин премьер-министр, — сказал Дикс, сделав легкий поклон, не подымаясь с кресла. — Сколь естественным и закономерным ни считаю это при наших отношениях, все же не могу не быть глубоко тронутым новым откровенным проявлением доброты к мне.

Геринг выслушал его с едва уловимым чувством нетерпения.

— Да-а, доверие — штука нужная, особенно в критические моменты. . . Разумеется, если оно взаимное. . . И поскольку я считаю, что как раз и наступил именно такой момент, то позволю себе поверить вам нечто, о чем кроме фюрера и меня не знает ни одна живая душа.

Дикс затаил дыхание, польщенный и вместе с тем охваченный недобрым предчувствием. Геринг резво поднялся с кресла и широкими шагами двинулся по толстому ковру. Его простая коричневая форма, единственным украшением которой был партийный значок, производила странное впечатление на фоне роскошной обстановки просторного кабинета. Геринг редко появлялся в министерстве в партийной форме, и Дикс догадался, что сегодня он ее надел, чтобы доказать всем, что снова стал вторым человеком в партии.

Подойдя к двери, он остановился на секунду и вернулся к столику.

— Речь опять пойдет о Димитрове, — начал он тихо, подчеркивая с мрачноватой веселостью словечко „опять“. — В Мюнхене мы обговорили официальный план действий. Сейчас посвящу вас в наши истинные намерения, которые только вчера были окончательно уточнены при продолжительном и довольно откровенном разговоре с фюрером. . . Наше твердое решение

— Димитров не должен живым покинуть Германию.

Внешне Дикс остался спокоен, хотя новость удивила, даже поразила его. Нетерпеливо ожидая, когда Геринг продолжит, он весь обратился в слух, застыв, как мумия, с таинственным, загадочным выражением лица.

Как видно, шеф остался не очень доволен такой формой подчеркнутой беспристрастности. Он тяжело навалился на подлокотник кресла и произнес, уставившись взглядом перед собой:

— В Мюнхене я вам привел большую часть серьезных доводов, которые заставляют нас любой ценой обезвредить этого человека. Есть, однако, еще одна причина, о которой тогда не шла речь. Она до известной степени носит, я бы сказал, литературный и. . . приватный характер, но не менее важна и существенна. . . Димитров — человек с бесспорным обаянием и талантом прирожденного трибуна. Он из числа тех людей, что способны повести массы к любой цели. Лишь тот, кто стоял против него и имел возможность видеть молнии в его больших дерзких глазах, может понять, что означает дать свободу этому поразительному моральному поджигателю. . . Вот что необходимо принять во внимание, решая его судьбу!

Дикс слушал озадаченно, не веря своим ушам. Всего каких-то полтора месяца назад Геринг хвалился тем, как прижал к стенке этого „дикого балканского субъекта“. Неужели шеф позабыл о своих прежних словах? В этом факте да и в том, что сейчас обо всем говорилось без малейшей капли ярости и презрения, как-то необычно спокойно и объективно, было нечто поразительное, и Дикс внезапно испытал чувство сожаления, что все еще не нашел времени ознакомиться с судебными протоколами.

— Все это, конечно, так, — произнес он после

короткой паузы. — Я верю в вашу беспристрастную и проницательную оценку... И все же, не зайдём ли мы слишком далеко, нет ли опасности бросить подобным актом тяжёлую тень на режим и имя Германии?

Геринг, нахмурясь, посмотрел на него и быстро, не задумываясь, ответил:

— Такая тень окажется более невинной, чем тот вред, который живой Димитров может принести и нашему режиму, и самой Германии!

Наступило молчание. Со стороны Бранденбургских ворот долетали ритмичные звуки: там маршировали колонны и приглушенно звучала барабанная дробь. Геринг, который славился чрезмерным любопытством, никогда не упускал случая поглазеть из своего кабинета на эти шествия. Но теперь он лишь на мгновение повернул голову к окну и тут же вновь обратился к Диксу:

— Разумеется, чем внимательнее, умнее и деликатнее все это будет сделано, тем лучше мы будем выглядеть в глазах всего мира. — Не удержавшись, он подошел к окну, но тотчас вернулся и с сердитым видом принялся расхаживать возле столика. — Собственно, что касается меня, так я не даю и ломаного гроша за это так называемое общественное мнение. Я хорошо понимаю, почему весь этот сброд хнычет о судьбе какого-то коммуниста и зачем созывает свои демагогические митинги протеста. Думаете, им так уж дорога жизнь Димитрова? Глупости! Все направлено против нас и нашей партии. Английские и французские плутократы лишились разума от страха. Они всегда боялись Германии и сейчас отчетливо сознают, что приходит конец их неограниченному господству... Окажись такой зубастый коммунист, как Димитров, в их странах и начни агитировать у них в судебных залах, вы бы и глазом моргнуть не успели, как они разделались бы с ним. А сейчас протестуют, создают комитеты, посылают к нам людей

и петиции! Все это крокодиловы слезы, дорогой Дикс, которым ни один серьезный человек не верит...

Он остановился около Дикса и уставился на него своими запавшими глазами.

— Впрочем, вы разбираетесь в таких вещах не хуже меня, и лекции здесь ни к чему. Пусть с других позиций, но вы также боролись против плутократии и коммунизма и обладаете богатым опытом... К тому же у нас к вам полное доверие. Вот мы с фюрером и решили возложить на вас исполнение этой ответственной и сверхсекретной задачи.

Дикс вздрогнул и почувствовал, что ноги у него становятся ватными... Он уже догадался, к чему клонит Геринг. Услышав о тайном решении, он понял, зачем его вызвал шеф. Дикс моментально представил себе, как Геринг, вернув себе расположение фюрера, в тот же момент склонил его дать согласие окончательно расправиться с ненавистным противником. И не только вырвал согласие, но и заручился целым ворохом пламенных уверений в полной поддержке и готовности удовлетворять все его желания. Обычно после временного охлаждения щедрость и любвеобильность Гитлера становились безграничными.

Дикс подумал, что, возможно, отблески этой щедрости коснутся и его, тем более что в критические дни он сохранил верность Герингу. От робкой и обманчивой радости потеплело в груди. В тот же миг он ясно отдал себе отчет, что никогда еще за всю десятимесячную службу гитлеровцам те не требовали от него столь ответственного, опасного и решительного шага. Неожиданно припомнились отрывки из разговора с Галлахером и Доддом, наивно-восторженные отзывы Марты о Димитрове, и это еще более усугубило состояние неуверенности.

Дикс заметил, что Геринг внимательно наблюдает

за ним, ожидая ответа. Он молча поднялся, щелкнул каблуками и утвердительно кивнул головой. Было во всем этом что-то комическое и неуместное. Тон разговора и полная откровенность между ними как бы исключали строгое и беспрекословное подчинение. Но Дикс не случайно сделал этот жест. Ему хотелось подчеркнуть, что он на службе и принимает приказ, с которым, возможно, внутренне и не был вполне согласен.

Уловив это, Геринг нахмурился.

— Чтобы быть совершенно откровенным, добавлю, что ваши профессиональные качества и подготовка послужили не единственной причиной того, что выбор пал на вас. Может, не время заниматься этим, но все же вы должны знать! Существует серьезная оппозиция против выдвижения вас на этот пост, против моего заступничества... словом, вы понимаете, что я хочу сказать. До фюрера также дошли некоторые возражения и протесты. Не считая их основательными, все же не следует забывать о них. Тем более, что вы, действительно, стояли в стороне и от процесса и от прочих важных акций нашей партии. Дело идет к тому, что пора, так сказать, выкупаться с друзьями в одной воде, Дикс, и для вас этот час пробил!

Дикс чуть заметно прикусил губу, горечь досады жгла его. Ему пришло на ум, что и в самом деле хорошо бы окунуться в холодную воду, но он смолчал, потом поднял голову и тихо, но твердо сказал Герингу:

— Понимаю вас, господин премьер-министр! Можете быть совершенно спокойны.

Изложив несколько вариантов возможных действий, Геринг подошел вплотную к Диксу и посмотрел на него с нескрываемым удовлетворением.

— Принимайтесь за работу, Вольф! Проявите прису-

щую вам зрелость, ум и находчивость. Могу вас заверить, что партия и народ щедро вас отблагодарят.

Обезоруженный этими словами, взглядом и тем, что шеф почти никогда не обращался к нему по имени, Дикс лишь кивнул головой в ответ. Через несколько секунд, направляясь к двери, он уже испытывал странное чувство, словно до этой минуты он не был директором гестапо, а стал им лишь сейчас, и что несмотря на это теперь он уже никогда не сможет позволить себе произнести так вольно и независимо те слова, какие десять месяцев назад бросил Герингу и его соратникам по партии.

13.

Клуге и сам не понял, как согласился отправить телеграмму Димитрова. С его уст вот-вот готово было сорваться признание, что все письма задерживаются дежурным офицером и исчезают в коричневой папке. Наберись Клуге смелости сообщить это, он сразу освободился бы от гнетущего чувства постыдной полулжи, которое вот уже целую неделю не давало ему покоя. Но он не находил в себе силы открыть правду. В то же время у него не было никакого основания отказать Димитрову, особенно после того как он услышал, какое большое значение тот придавал телеграмме. Все смешалось в голове старика, а тут еще пфенниги, которые болгарин отсчитал в его ладонь, спрашивая, хватит ли денег на отправку. Одним словом, Клуге не запомнил, кому была адресована телеграмма и каково ее содержание. Вечером, собравшись идти домой и обрадовавшись отсутствию дежурного офицера (была суббота, и Вальтер улизнул со службы несколько раньше положенного), Клуге мельком заглянул в телеграмму, напи-

санную четким почерком на правильном немецком языке. Обращение его успокоило — телеграмма была на имя какого-то болгарского министра и в Германии ни к кому не имела никакого касательства. Но, прочитав о восстании и приговорах, старик снова встревожился. „Возьму-ка я с собой эту штуку, а в понедельник отдам ее лейтенанту!“ — решил про себя Клуге и со страхом вынес из тюрьмы запрещенную бумагу.

На следующий день было воскресенье, и Клуге отправился в церковь. Погода стояла скверная, и Рената осталась дома, занялась разными мелкими домашними делами. Девушка очень любила шить и гладить (старик приспособил для нее специальную доску, которую клал поперек коляски, чтобы Ренате было удобно заниматься любимым делом), и потому она в первую очередь заштопала и отутюжила одежду отца.

Вернувшись к обеду домой, освеженный зимним холодом и несколько успокоенный службой в церкви, Клуге увидел, что дочь с любопытством рассматривает телеграмму. Наверное, когда она чистила и зашивала его куртку, листок выпал из кармана.

Заметив отца, Рената подняла голову. В ее огромных чистых глазах светился живой интерес, и еще в них можно было прочесть легкое смущение, которое ей никак не удавалось скрыть в озерной глубине взгляда.

— Ты не сердись, папа, что я прочла письмо? Я бы никогда так не поступила, если бы не этот странный почерк. Ты, видно, забыл передать его в канцелярию, чтобы там поставили печать и отправили как положено, да?

Клуге посмотрел на нее с легким замешательством. Он давно заметил, что дочь со всеми подробностями запоминала правила тюремного распорядка и требования служебных инструкций, о которых он порой ей рассказывал. У девушки было живое воображение. При

этом она воспринимала любое правило, как железный закон, который ни в коем случае не следует нарушать. Вот почему она была встревожена оплошностью отца. Подбросив брикет в плиту, Клуге подсел к дочери:

— Не совсем так, Рената. Во-первых, это не письмо, а телеграмма. И, во-вторых, не забыл я, а просто оставил у себя, потому что... потому, что тот заключенный, болгарин, про которого я тебе рассказывал, попросил отправить ее по почте...

Сказав это, он в тот же миг пожалел о своих словах. Рената посмотрела на бумагу, потом подняла глаза на отца. Между ее густых блестящих бровей залегла морщинка.

— Но ты мне говорил, что вся корреспонденция заключенных проверяется в канцелярии?

— Да, но вчера была суббота, и некому было проверить телеграмму. Поэтому она осталась у меня... до понедельника.

Уловив в словах отца что-то неладное, девушка беспокойно заморгала.

— Постой, отец, не понимаю тебя. Ты сказал, что... болгарин попросил отправить телеграмму по почте, а в то же время ты должен ее отдать в канцелярию... Как же так, прошу, объясни мне!

Клуге попытался было сменить тему разговора, но Рената требовала, чтобы он рассказал обо всем, что случилось. Она очень любила слушать отца, знала, о чем тот беседовал с заключенными и своими коллегами, и, бывало, старик нарочно придумывал для нее разные поучительные истории, выдавая вымысел за истину. Но этот случай был иной — девушка подметила противоречие в его объяснениях, и старику никак не удавалось вывернуться.

Клуге закурил трубку, покрутился возле плиты и снова подсел к ее коляске.

— Ну, ладно, расскажу тебе, Рената, все как было. Ты знаешь, я ничего от тебя не скрываю! Узник попросил отправить телеграмму, потому что она очень важна для него и во что бы то ни стало должна дойти до адресата. Он дал мне и деньги, да и я почти что пообещал ему.

Рената широко раскрыла глаза.

— И ты не покажешь ее в канцелярии? — спросила она, скорее недоверчиво, чем с укором.

Клуге промолчал — такой разговор был ему в тягость. Ему показалось нелепым убеждать свою дочь в том, что он вынужден пойти на нарушение правил, тогда как сам он внутренне еще не решился на такой поступок.

Вдруг счастливая улыбка озарила лицо Ренаты, и она принялась быстро-быстро перебирать руками колеса своей коляски. Привычным, точным движением остановила ее возле этажерки с книгами и взяла с полки большой географический атлас. Клуге невольно бросил взгляд на неподвижные ноги дочери, прикрытые каким-то платком, потом на книги, и старая боль вновь отозвалась в его сердце. Для чего эти идеально расставленные тома, если в коляске — мертвое, беспомощное тело?.. Это он соорудил такую отличную полку для книг, впрочем и все остальное в комнате было делом его рук — и шкаф, и комод, и рамки для портрета матери Ренаты и той странной картины с умирающей собакой, которую дочь сама выбрала себе в антикварном магазине. Распятие и иконы он не считал — Рената не дорожила ими, не слишком верила в бога, но отец не сердился на нее за это. Да, все это он сделал для нее, и хорошо, что успел закончить работу раньше, чем пришлось продать мастерскую со всем инструментом, вплоть до последнего рубанка... Видя, как дочь радуется библиотеке, старик испытывал несказанные муки. Какой толк был ото всего этого?

Рената вернулась к нему и раскрыла на коленях атлас.

— Вот где София! Смотри, отец, куда должна прийти телеграмма! Через Чехословакию, Венгрию, Югославию она попадет в Болгарию.

Рената перевела взгляд за окно, и на ее бледном, прозрачном лице появилось мечтательное выражение. Она слегка склонила набок прелестную головку, нежный изгиб ее шеи, в котором было так много женского очарования, составлял жестокий контраст с хилой, недоразвитой фигурой девушки. Привычка склонять голову и пушистая каштановая коса напоминали Клуге о покойной жене. От нее Рената унаследовала не только грациозность манер и глубину светлых глаз, но и странную склонность читать и мечтать о далеких краях, создавать свой мир людей и событий. Барбара, которая была наполовину полькой, часто впадала в точно такое же настроение. Двадцать пять лет они прожили вместе, но Клуге не решился бы сказать, что до конца понимал свою жену.

— Что это за сентябрьское восстание, отец? — прервал его мысли голос Ренаты. — Ты слышал что-нибудь о нем?

Отец ответил, что не слышал о таком восстании, что, наверное, речь идет о каком-то бунте против властей, поднятом болгарами. За участие в бунте Димитров, видно, и был осужден.

— Как бунт рабов под предводительством Спартака! — прошептала Рената, и это прозвучало не как вопрос, а скорее как мысль, которая родилась у нее под влиянием прочитанной книги.

— Почему он хочет вернуться на родину? — спросила она. — А если его снова бросят в тюрьму?

Старик задумался. Ему показалось вдруг страшно трудным ответить на этот вопрос. Только тут он осоз-

нал, что, в сущности, просьба Димитрова таила в себе большую опасность: как же раньше Клуге не обратил на это внимания. Он вспомнил о первом письме Димитрова к председателю суда и о других письмах, переданных ему вместе с деньгами на марки, — все они были адресованы именитым лицам в Лейпциге и Берлине. „Удивительный человек! Разве ему недостаточно десяти месяцев тюрьмы, чтобы опять лезть в лапы правосудия, но теперь уже болгарского!“

— А может, у него есть близкие, с которыми он хотел бы повидаться? — мечтательно продолжала Рената, будто рассуждала о вымышленном герое, созданном ее воображением.

— Едва ли, — ответил Клуге. — Мать и сестра его здесь, жена умерла в Москве... Кажется, я рассказывал об этом.

— Да, да, она еще писала стихи... А, может, у него есть дети, там, в Софии?

Клуге вопросительно поднял брови. Никогда у них с Димитровым не было разговора о детях.

— Не знаю, — произнес он неуверенно. — Про детей он ничего не рассказывал.

Рената снова пробежала глазами текст телеграммы и вдруг воскликнула с искренним сочувствием:

— Как это ужасно, когда обвиняют в том, чего ты не совершил! — И со вздохом добавила: — Этот бунт был в 1923 году. Мне исполнилось тогда десять лет, и моя болезнь только-только начиналась.

Клуге вздрогнул. И все это она сумела извлечь из краткого содержания телеграммы — какая все-таки фантазия у девочки! Иногда он пугался быстрых и неожиданных скачков ее мысли, поражался ее способности перебрасывать мосты между вещами, которые ему лично никогда бы не пришло в голову связывать между собой или противопоставлять.

— Пожалуй, я его понимаю, — услышал он ее чуть взволнованный голос. — Уж не хочет ли он им объяснить, что не несет вины за восстание, что не причастен к нему, как и к пожару? А вдруг этот бунт был неизбежен, потому что рабы не могли больше страдать!

— Какие рабы, Рената? — в изумлении посмотрел на нее Клуге.

Девушка умолкла, закрыла атлас и поставила его на этажерку...

За обедом оба долго молчали. Хотя был праздник, на столе стояло одно единственное блюдо — картофель со свиным ливером. Два месяца назад Гитлер ввел так называемые „воскресенья одного блюда“, и два раза в месяц каждая немецкая семья должна была довольствоваться в воскресенье одним блюдом стоимостью не более сорока пфеннигов. Остальные средства, которые в других условиях были бы израсходованы на праздничный обед, надлежало направлять в фонд помощи голодающим и бедствующим. Клуге не одобрял полностью эту меру, но Рената пунктуально соблюдала новое предписание и постоянно настаивала на том, чтобы старик выделял деньги для внесения в фонд.

— Послушай, отец, — сказала Рената в конце обеда, — если ты отдашь телеграмму в канцелярию, как ты думаешь, ее отправят в Софию?

— Не знаю, — он отвел взгляд от дочери. — Полагаю...

— Но не уверен, так? Потому-то он и дал тебе телеграмму и попросил отправить лично. Ведь он сказал, что это крайне важно для него?

— Да, сказал.

Рената умолкла. К вечеру ветер стих, и Клуге вывез дочь на прогулку в парк. А когда они вернулись домой, то прежде чем лечь спать, Рената коснулась руки отца и, глядя на него снизу вверх, тихо попросила:

— Ты, правда, отправишь телеграмму завтра, отец?

Он очень надеется на тебя... — Она задумалась и добавила как-то неуверенно: — Мне еще не приходилось быть несправедливо обвиненной, но я хорошо понимаю и его, и то, как ему тяжело. Ведь не случайно он так хочет вернуться на родину и бороться за свое оправдание. Ты должен ему помочь, отец! Ведь ты же говорил, что человек он хороший!

Клуге сжал ее тонкую руку, но ничего не сказал.

Немного погодя Рената включила свой маленький приемник, который он купил ей в одну из первых получек, и стала крутить ручку настройки. Она любила слушать далекие голоса, чужую речь, и слушала с таким самозабвением, что порой казалось, будто она всем своим существом переносится в дальние страны, в невиданные города, бродит по их незнакомым улицам. Старик, случалось, засыпал, а дочь, приложив ухо к маленькому круглому наушнику, совершала свои бесконечные путешествия по эфиру. Она понимала лишь передачи на немецком или родственных языках, но с не меньшим удовольствием слушала и чужую речь, пытаясь представить неизвестных людей и земли, откуда прилетали эти таинственные голоса. — Она была верна себе — у нее были свои понятия о вещах, столь далекие от реальности, что Клуге порой становилось не по себе, когда он пытался представить, какое разочарование ожидает дочь при неминуемом столкновении с действительностью. Но Рената словно была защищена от подобной опасности. Она жила в созданном ею мире, все объясняла по-своему, всему искала оправдание, исходя из собственного представления о добре и зле. Когда она узнала, что Димитров постоянно подкармливает птичек у решетки тюремного окошка, она тотчас решила, что он добрый человек, и, исходя из своего вкуса и жизненного опыта, принялась рисовать его черты. Каждая новая подробность, которую сообщал ей отец, дополня-

ла уже созданный образ, подтверждая составленное ранее мнение. Когда Клуге как-то раз обронил, что Димитров проявил интерес к ее недугу и рассказал, что в Болгарии есть много целебных минеральных источников, помогающих при разных формах заболевания параличом, Рената тотчас представила огромный парк и себя, гуляющую по этому парку на здоровых резвых ногах. Она продолжала утверждать, что Димитров человек исполинского роста и силы, с большими черными глазами и громоподобным голосом, хотя в газетах давно были напечатаны его снимки и отец неоднократно довольно подробно описывал узника...

„Что станет с нею?“ — подумал старик и вздохнул в темноте, поняв, что Рената наконец заснула в своей постели. Как можно жить фантазиями, в выдуманном, иллюзорном мире? А чего стоят все эти книги, атласы, радио?“

Он долго ворочался под стеганным одеялом: сон не шел к старику. С тех пор, как он поступил на службу в тюрьму, жизнь впервые поставила его перед таким испытанием. И более всего смущало Клуге то, что по нелепой случайности к этой истории теперь уже имела отношение и его дочь, а он не мог придумать, как объяснить ей истинное положение вещей и оправдать шаг, который предстояло совершить завтра. Он было подумал, что утром Рената, возможно, забудет о телеграмме, другие заботы отвлекут ее внимание. С этой мыслью он заснул. А когда на другой день собрался идти на работу, девушка подкатила к двери и успела схватить его за руку.

— Ты ее отправишь, отец, да? Если не хватит денег, добавь! Сэкономим на чем-нибудь... Обещаешь мне?

Он стушевался, растерянно моргая и сам не заметил, как с губ сорвалось неуверенное: „Да, Рената, обещаю...“

Никогда еще дорога на службу не казалась ему столь длинной и мучительной, как в то хмурое, мглистое утро. Он шел, сжимая в кармане шинели сложенный несколько раз листок, и непрестанно спрашивал себя, имеет ли право выполнить такую просьбу дочери. Возможно, что в тюрьме не докопаются, кто вынес телеграмму. Правда, Клуге мог попросить любого случайного прохожего отправить ее. Но все-таки подозрение падет в первую очередь на него и его коллег. Отпираться будет бесполезно, к тому же Клуге не умел обманывать. Его, конечно, уволят за такой страшный проступок. Среди зимы. Где тогда устроишься на государственную службу? Вот сейчас он служит менее года, а сумел-таки сколотить чуток деньжишек, они немножко приоделись, для дома купили кое-что да и питаются нехудо... А могут за такое и в лагерь закатать.

Он прошел мимо еще одного почтового отделения, отвернувшись в сторону, словно этим мог обмануть себя, что было просто глупо... Имела ли Рената ясное представление об этом человеке и его странных и опасных делах?.. „Бунт Спартака!“ — вот какие мысли вертелись в ее наивной головке.

Клуге поднял воротник — резкими порывами дул ледяной ветер. Старик представил, как вечером вернется в натопленную комнатку и как Рената еще в дверях задаст ему вопрос о телеграмме. Какую радость он доставит ей, если скажет, что отправил!

Опять на его пути оказалась почта — Клуге никак не предполагал, что этих почтовых контор развелось так много. Он остановился, в раздумье потер лицо... „Ах, доченька, какую заботу взвалила ты на мою голову! И откуда у тебя только все эти мысли о бунтах и прочей чепухе? Да и что ты вообще знаешь о нашем гнусном, запутанном-перепутанном мире?..“ Он тяжело, безнадежно вздохнул, достал листок и принялся рассмат-

ривать его вновь. Хотя текст был написан на правильном немецком языке, любой почтовый чиновник моментально догадается, кто отправитель телеграммы, и старик живо представил себе, как тот с удивлением подымет голову и взглянет на него, на Клуге... „Я прежде всего должен думать о тебе, Рената. Кто другой позаботится о твоём трудном, полном неизвестности будущем?... Хотел бы тебя порадовать, дочка, но не могу, не имею права. Придется пойти, отнести листок дежурному офицеру, а сегодня вечером...“ И он прошел мимо дверей почты, внезапно осененный подленькой, но удивительно простой мыслью, которая его успокоила и в то же время исказила ему лицо гримасой стыда и муки — словно он уже стоял перед Ренатой и лгал ей прямо в глаза, принимая в ответ горячую благодарность, которой не заслужил.

14

В начале января по тюрьме разнеслось, что Ван дер Люббе казнили. Димитров испытал чувство смутного, необъяснимого сожаления, которое вместе с тем породило в нем новую волну возмущения. Со сцены ушел главный свидетель величайшей провокации, унеся с собой в могилу мрачную тайну. Месяцами миллионы людей с надеждой ожидали, что молодой каменщик заговорит, раскроет истину и тем самым положит конец преступной игре с совестью человечества... Неужели его так сильно запугали, или мир попросту имел дело с моральным и политическим дегенератом?

Для Димитрова вопрос был совершенно очевиден — свое мнение он выразил весьма недвусмысленно, используя бессмертные образы гетевского „Фауста“. И все же смерть Люббе вызвала с новой силой утихшее

было чувство отвращения и омерзения. А вместе с тем — хоть он и не питал никаких иллюзий — в глубине сердца шевельнулась робкая надежда: а вдруг, несмотря на всю низость падения, у Ван дер Люббе в последний час пробудились человеческие чувства, и он приподнял, пусть всего на миг, край темной завесы?..

Когда на следующее утро Клуге принес завтрак в камеру, Димитров не удержался и спросил, не известны ли ему какие-либо подробности о казни.

В это утро старик выглядел особенно задумчивым и, казалось, не сразу понял вопрос. Потом растерянно сказал:

— Говорят, он не понимал, куда его ведут. Словно лишился разума, а изо рта текли слюни.

Клуге потоптался еще немного в камере и тихо вышел.

Димитров его не остановил, хотя новость произвела на него сильное впечатление. Во время процесса Ван дер Люббе часто впадал в странное состояние сонливости и апатии. Говорят, ему делали инъекции какого-то лекарства, притупляющего волю. Очевидно, несмотря на всю его глупость, гитлеровцы не на шутку боялись, как бы голландец не вывел их на чистую воду.

Однажды Димитров спросил Штайнера, знает ли тот об этом. Доктор заявил, что Ван дер Люббе занимается лично главный врач тюрьмы и что сам он не имеет ни малейшего представления о состоянии заключенного... И вот даже в последний его час они вновь прибегли к таинственным медикаментам!

После полудня в камеру наведалься Штайнер, хотя Димитров его не вызывал и не нуждался в его услугах. Доктор остановился у стола, взял книгу, полистал и, не отрывая от нее взгляда, спросил, как себя чувствует Димитров и нет ли у него каких жалоб. Не дожидаясь

ответа, он отбросил книгу и проговорил с неожиданным оживлением:

— Вы, конечно, слышали — вчера приведен в исполнение приговор над Ван дер Люббе... Знаете, это меня навело на некоторые интересные размышления, которыми хотелось бы поделиться с вами.

Димитров с удивлением взглянул на Штайнера.

— Вы присутствовали при казни?

— Да, главный врач в отпуске, и я должен был его заменить.

Димитров слегка затаил дыхание.

— Давно в отпуске?

— С неделю... А что?

Димитров не ответил: он очень ясно представил себе, как большие, веснушчатые руки Штайнера выдавливают воздух из шприца и загоняют иглу под кожу Ван дер Люббе. Случилось ли это впервые или доктор и раньше участвовал в подобных экспериментах?

— Вы хотели о чем-то поговорить?

Штайнер поморщился.

— Не знаю, стоит ли...

— Не верите, что я вас пойму, или...

— Скорее опасаясь, что могу вас рассердить.

— Прошу об этом не беспокоиться! Вам известно, что я люблю откровенность и умею защищаться.

Штайнер уставился на сигарету Димитрова, потом перевел взгляд на пепельницу, полную окурков.

— Много курите. Не боитесь, что это вам повредит?

— Пожалуй, нет. Вы существенно укрепили мое здоровье, поэтому я уже не имею оснований сердиться на вас.

Доктор подошел к окошечку, постоял немного, повернувшись спиной к Димитрову, потом прислонился к стене.

— Когда я увидел, как палач дернул рычаг гильо-

тины и голова этого глупца скатилась в яму, знаете, о чем я подумал? „Ну вот этот идиот и вошел в историю!“ И еще подумал, что, в сущности, вы могли оказаться на его месте, и тогда бы вся ваша борьба обрела смысл.

Димитров посмотрел на него, ошеломленный невероятной откровенностью его слов.

— Благодарю за участие, но я предпочитаю войти в историю, не потеряв головы.

— Вы не правы! — с неожиданной живостью возразил доктор. — Для человека вроде вас очень важно сойти со сцены в нужный момент. Не хотел бы загадывать, но если вам удастся вырваться отсюда, через год-два о вас забудут. Станут спрашивать: „А что стало с этим Димитровым? Тогда они его помнятся, не ликвидировали, и что — он жив еще?..“

Пораженный Димитров внимательно слушал. Он сознательно отводил глаза от доктора — было стыдно за него.

— Вы странный человек, — проговорил он после длинной паузы. — Есть в вас что-то болезненное. Думаю, не ошибусь, назвав это комплексом неполноценности.

Штайнер вздрогнул, видимо, задетый этими словами.

— Возможно, — произнес он. — Знаю, что я весьма посредственный медик, и покину этот свет так же просто, как осенью засыхает трава. Единственное утешение для меня состоит в том, что это приобщает к великому круговороту природы... А вы, как видно, стремитесь любой ценой остаться в живых?

— Стремлюсь! — сказал Димитров. — Думаю, что заслужил это и еще постараюсь заслужить... У меня много дел на этом свете.

— И вам все это не надоело?.. Какой, собственно, в этом смысл?

Димитров задумчиво посмотрел на него.

— Я отдал все силы делу борьбы рабочего класса. Это борьба за прогресс человечества, против мракобесия и реакции... Когда перед тобой такая цель, не спрашиваешь — войдешь ли ты в историю и будут ли люди помнить тебя. Для этого просто нет времени... Особенно если учесть, что у тебя украли золотой год жизни.

Несколько секунд доктор молча смотрел на Димитрова, потом пожал плечами и сказал:

— Допустим, вы правы! Но не могут же все быть борцами. Должны быть и рядовые, не так ли?

— А вы горько ошибаетесь, полагая, что проведете дни своей жизни подобно невинной травке! — продолжал Димитров, не обращая внимания на его слова. — Очень скоро вы окажетесь перед дилеммой — или способствовать истреблению человечества, или погибнуть самому... Впрочем, эта дилемма уже встала перед вами, когда вчера вам пришлось заменить своего шефа и сделать последнюю инъекцию Ван дер Люббе, чтобы тот молчал перед смертью.

Кровь отхлынула от лица Штайнера, и лишь в уголках губ змеились две короткие розовые черточки, будто нарисованные краской.

— Что вы хотите этим сказать?.. Какая инъекция? — пробормотал он растерянно, но тут же взял себя в руки и закончил с суровыми нотками в голосе: — К вашему сведению, была принята всего-навсего самая обыкновенная мера предосторожности, чтобы предотвратить крики, которыми можно было нарушить спокойствие...

— Разумеется, покой узников следует всячески охранять! — иронично заметил Димитров. — Так, впрочем, поступали и судьи во время процесса... Думаю, что и вы

на меня не обидитесь, доктор, если я скажу, что на вашем месте любой честный человек понял бы, что следовало сделать в такой момент, тем более если его шеф пребывает в отпуске!

Кривая, недобрая улыбка заиграла на губах Штайнера, глаза его потемнели:

— Конечно, если при этом человек поставил себе целью стать бессмертным, господин Димитров. У меня же такой цели нет...

После его ухода Димитров долго находился под впечатлением тягостного разговора. Вначале он был почти уверен, что Штайнер принимал и прежде участие в опытах над Ван дер Люббе. При мысли об этом к горлу подступал жгучий комок, душу охватывало запоздалое сожаление, что вовремя не нашел сильных, решительных слов и не заклеил преступника. Но постепенно, вспоминая рассуждения доктора и все его поведение и приняв во внимание, что пришел-то он в камеру по собственному желанию, Димитров заколебался. Если допустить, что Штайнер и раньше помогал обрабатывать Ван дер Люббе, то вряд ли он стал бы сейчас держаться так и, пожалуй, по-иному встретил бы обличительные слова в свой адрес. Вероятнее всего, из-за отсутствия главного врача ему сказали, что нужно сделать инъекцию голландцу, чтобы тот не вырывался из рук, увидя, куда его ведут. И Штайнер не нашел в себе силы отказаться. А сейчас сожалел, может, даже презирал себя за подлую свою трусость и поэтому пришел сюда и пустился в странные, вызывающие разговоры. Димитров снова вспомнил о нелепой параллели, проведенной доктором между ним и Ван дер Люббе, о тенденциозных рассуждениях относительно бессмертия и еще тверже убедился, что за всем этим кроется стремление доктора успокоить свою совесть, оправдать малодушие.

Не было другого человеческого недостатка, который бы Димитров не презирал глубже, чем отсутствие смелости. Проявление этой отвратительной черты всегда выводило его из равновесия, вызывало самую яростную реакцию. И это наблюдалось в нем с самого юного возраста — с тех далеких лет первых стачек и демонстраций, когда страх за собственную шкуру нередко побуждал его молодых товарищей — учеников и подмастерьев — проглатывать обиды и оскорбления. За свою долгую и бурную жизнь борца ему не раз приходилось сталкиваться с тысячью разновидностей страха, обнаруживать его под всевозможными личинами. Вот и у доктора малодушие проявилось на особый, штайнеровский манер — как циничное неверие в смысл борьбы и принесенных жертв и как отвратительное любование собственным ничтожеством.

Димитров поморщился, охваченный душевной болью, и вдруг в ушах его прозвучала крылатая мысль Гете, которую он неоднократно повторял, ободряя себя и своих товарищей в трудные, решительные часы борьбы:

Коль добро потерял — мало ты потерял,
если честь потерял — много ты потерял,
смелость же потерял — с нею все потерял!

Он подошел к столу и хотел было взять томик стихов Гете. Вновь захотелось окунуться в стихию мудрых и ярких мыслей гениального сына Веймара. И вдруг протянутая к книге рука опустилась — прямо перед ним столбиком лежала мелочь, положенная так, чтобы ее сразу увидели. Димитров тотчас вспомнил, что в камеру заходил Клуге. Он принес из стирки белье, потоптался и ушел. Погруженный в свои мысли, Димитров не обратил на него внимания. И вот сейчас — эти монеты!..

Пересчитывать их не было никакой надобности —

пфенниг в пфенниг. Их было ровно столько, сколько он вручил на днях Клуге на покупку марок!

Негодование с новой силой овладело Димитровым. Не был ли и этот поступок проявлением жалкого страха в одной из его тысяч личин? Чем иным можно было объяснить этот поступок, о последствиях которого Клуге, бесспорно, очень хорошо знал? И чем, собственно, он отличался от Штайнера? У каждого было свое оправдание: у одного — высохшая травка, у другого, может быть, евангелие. Ведь не присвоил же он деньги, вернул все до последней монетки!

Димитров поймал себя на том, что поддается какому-то слепому и злому чувству и что, вероятно, не вполне справедлив. В голове его роились жестокие упреки в адрес немецкой холодности и бессердечия, неодолимого мещанства мелких бюргеров. Он был готов поставить под сомнение свое отношение к старому надзирателю. Но, подумав, уже не почувствовал былой уверенности в том, что Клуге из-за безвыходного положения поступил сюда на службу, стремясь, как он говорил, облегчить будущее своей парализованной дочери, или же самым расчетливым образом приспособился к режиму... Димитров шагал по камере, хмурый, раздосадованный на всех и, кто знает отчего, недовольный собой.

Расхаживая, он неожиданно наткнулся взглядом на стопку чистого белья, положенную поверх постели. И снова вспомнил Клуге и то, как поблагодарил его за услугу. А может, прежде чем оставить деньги, старик попытался было объяснить ему что-то, извиниться или признаться, что испугался?.. Димитров в задумчивости смотрел на деньги. Смутная неуверенность закрадывалась в сердце. Нет, это не было бездушие, что угодно, только не бездушие! Пожалуй, он поспешил поставить его на одну доску с доктором. Димитров представил

себе, как тюремный служитель разрывался между желанием помочь, ужасом при мысли об увольнении и своими христианскими представлениями о чести и морали. Верх взяло почтенное благоразумие: он молчаливо возвращал пфенниги, таким образом давая понять, что письма и последняя телеграмма задержаны администрацией тюрьмы.

Димитров с горечью усмехнулся. Сколь ничтожно мало было это утешение. И все же нужно было быть благодарным и за это. Окажись на месте Клуге кто другой, так он и деньги брал бы, и письма относил бы в канцелярию, и при этом лгал, что отправляет корреспонденцию. Сейчас по крайней мере Димитрову стало ясно: две недели ушли впустую и все следует начинать сначала!

Все еще озабоченный, он начал переодеваться. Взял из стопки рубашек верхнюю и, когда стал застегивать пуговицы, с удивлением почувствовал, как в уголке воротничка, куда обычно вставляют косточки, что-то прошуршало под пальцами. Он быстро снял рубашку, подпорол шов и извлек оттуда маленькую бумажку, скрученную в тонкую трубочку. Крупными печатными буквами на бумажке было написано: „Будьте так же тверды, как и на процессе! Весь немецкий рабочий класс с вами и шлет свой привет. Группа товарищей“.

Димитров еще раз пробежал глазами короткое письмо, и лицо его озарилось признательной улыбкой.

15.

В тот же день в Лейпциг прибыл Вольф Дикс.

Минувшей ночью, после разговора с Герингом, он, наконец, раскрыл папки с протоколами процесса и просидел над ними до рассвета.

Прочитав последние фразы заключительной речи Димитрова, он долго сидел в задумчивости. За свою жизнь ему приходилось беседовать не с одной сотней коммунистов — в школьные и студенческие годы, а позднее в должности руководителя отдела полиции по борьбе с красной опасностью, — но такой человек еще не встречался на его пути. Только теперь он мог объяснить интерес к Димитрову со стороны таких людей как Марта, Пьер и Галлахер, он понял, почему Геринг долгое время ни о чем ином не мог думать и говорить. Диску стало ясно, что он не успокоится до тех пор, пока не увидит своего противника мертвым.

Сам же Дикс чувствовал, как в нем начинают подыматься губительные волны зависти, стоило вспомнить о поведении Димитрова на суде, о ряде блестящих сражений его с Герингом, Геббельсом и Хеббе и вообще о всей его бесстрашной защите, проведенной тонко, с неослабевающим вдохновением, умом и талантом.

Утром после трех-четырех часов сна, дело перестало казаться ему столь исключительным, зато он испытал странное желание встретиться с Димитровым и поговорить. За этой неожиданной прихотью стояла не только поутихшая было страсть к дискуссиям и спорам, создавшая ему в молодые годы славу одного из активнейших социалистов Ганновера, способного разбить в пух и прах своих коммунистических оппонентов. За желанием увидеть своими глазами опасного революционера скрывалась неуголимая жажда Дикса самому удостовериться в том, что не существует беззаветно преданных и убежденных в правоте своего дела людей и что если такие фанатики встречаются, то они не могут соединять в себе одновременно ум, культуру и талант. Он был уверен, что Геббельсу с Герингом, и, особенно, Хеббе просто не удалось найти верный подход к ловкому и чрезвычайно хладнокровному противнику и сра-

зить его действенным оружием. Дикс надеялся, что хотя и с известным опозданием, сумеет сделать это и поставит самоуверенного болгарина на место... Была еще одна причина, из-за которой он намеревался посетить камеру Димитрова, — мысль о полученном вчера приказе не давала ему покоя, хотя он всячески и гнал ее из головы. Кроме всего прочего, встреча с узником могла помочь обнаружить некоторые его уязвимые места, а это значительно облегчило бы выполнение возложенной на Дикса миссии.

Геринг одобрил предложение, обещал немедленно позвонить лейпцигскому полицей-президенту, и Дикс отбыл в столицу Саксонии.

Там его встретили, как исключительно важного гостя. Директор тюрьмы — упитанный человек лет пятидесяти, с кудрявыми волосами и немного смешными манерами, характерными для провинциальной богемы, — поспешил его уверить, что знает, какие заботы доставляет Димитров фюреру и премьер-министру Герингу. Он смотрел на Дикса фамильярным, почти влюбленным взглядом и, как щенок, ожидал первого жеста или слова, чтобы кинуться исполнять приказание.

Дикс не спешил. Удобно расположившись в кожаном кресле, закурил сигару. Он не проявлял внешне особого интереса или, точнее, нетерпения узнать все сразу, а предоставил словоохотливому директору возможность рассказать об всем самому.

Пожаловавшись на колоссальные неприятности, которые ему создает Димитров, и подчеркнув свою огромную ответственность перед нацией, директор продолжил с патетическими нотками в голосе:

— И наконец — следующее! Кто же он в действительности — окончательно оправданный или подсудимый, или еще кто? Поговаривают, что будет новый

процесс, но это всего лишь разговоры. И я не знаю, как к нему отнестись — разрешать ли ежедневные свидания, как он того требует, выпускать ли на прогулку вместе с другими заключенными и что делать с его корреспонденцией?..

— Он получает много писем? — прервал его Дикс.

— Гораздо меньше, чем посылает. Прямо-таки завалил нас бумагой. И к кому только не обращался — разве что фюреру не писал! И все требует, требует, словно все власти Германии ему чем-то обязаны!.. Ах, господин министерский советник, уже три месяца у меня от всего этого не перестает трещать голова!

— Как вы поступаете с письмами?

— Задерживаем, разумеется. Копию направляем господину полицай-президенту. Так он распорядился на следующий день после окончания процесса.

Дикс подумал несколько секунд и с дружелюбной, поощряющей улыбкой сказал:

— Мне хотелось бы посетить его... Прошу проводить меня... Да, и пусть принесут письма, которые он писал.

— Слушаюсь, господин министерский советник! Все будет исполнено, — директор несколько раз поклонился, видимо, удивленный таким желанием гостя.

Вскоре в кабинет вошел лейтенант, молодой крепыш с мелкими кудряшками и выбритыми до синевы щеками. Под мышкой он держал новенькую коричневую папку.

Директор объяснил ему, кто гость и зачем прибыл.

— Как вы желаете, господин министерский советник, — обратился затем он к Диксу, — сначала зайдете к заключенному или просмотрите письма?

Дикс бросил взгляд на папку, внезапно его охватило любопытство.

— Сперва познакомлюсь с письмами! — сказал он.

Перед ним положили папку и оставили его одного.

И вот теперь, после чтения речей и словесных дуэлей Димитрова в суде, Дикс имел возможность заглянуть и в его личные письма и записки, чаще всего размером не более четверти или половины страницы, адресованные самым разным лицам. Преобладали письма на имя лейпцигского полицай-президента и председателя IV уголовного сената, два письма были адресованы имперскому министру внутренних дел доктору Фрику. Прочие предназначались для сестры Димитрова, проживавшей в одном из лейпцигских отелей и неизвестных Диксу лиц в Советской России, Англии и Франции. В папке лежало обращение к Парижскому комитету спасения подсудимых Лейпцигского процесса и ответ на какое-то поздравление, присланное молодыми английскими пролетариями. В письмах Димитров был крайне деловым, практичным, воздерживался от обобщений и поучений, использовал простой, разговорный язык. И все же Дикс испытал странное чувство уважения этой пачке листков исписанных крупным четким почерком. От них веяло спокойной уверенностью, сознанием собственной правоты и в то же время едва уловимым духом превосходства.

Он был готов уже захлопнуть папку, как вдруг на глаза ему попался небольшой листочек, сложенный вчетверо и засунутый в письма. Он развернул бумагу и удивленно поднял брови. Это была телеграмма Димитрова болгарскому премьер-министру. Дикс зажег угасшую сигару, прочел краткий текст и тотчас почувствовал раздражение от очередной дерзости Димитрова — в момент, когда положение его было как никогда трудным, а будущее полно неопределенности, он писал о приговорах, вынесенных в Болгарии, и заявлял, что будет бороться за их отмену. Тон и особенно перечисление трех требований в конце телеграммы задели Дикса, пробудив неясную тревогу в душе.

Когда некоторое время спустя директор и дежурный офицер осторожно заглянули в кабинет, он все еще держал в руках эту необыкновенную телеграмму.

Дикс поднял голову, встретил любопытный, полный мрачного фанатизма взгляд молодого лейтенанта, догадался, что коричневая папка приготовлена собственноручно им, и неизвестно отчего пришел в раздражение, при виде его самонадеянной, наглой физиономии... „Наверное, оба ждут похвалы за свое старание“, — подумал Дикс, молча закрыл папку и поднялся.

— Пошли!

Вальтер и директор переглянулись.

— Как распорядитесь относительно корреспонденции, господин министерский советник? — спросил директор тюрьмы.

— Будете высылать копии мне в Берлин, лично!

— И с этих снять?

— Не со всех. Снимите копии с писем официальным лицам... — Дикс двинулся к двери и с полдороги бросил небрежным тоном: — И с телеграммы в Софию!.. Надеюсь, вы не собираетесь ее отправлять? — усмехнулся он как-то через силу.

Дежурный офицер рассмеялся во весь голос, а у директора забегали глаза.

— Разумеется, господин министерский советник!.. — Он осекся, вытащил большой белый платок и вытер вспотевший лоб. — Вас проводить, господин министерский советник?

Дикс улыбнулся одними губами... „Ну что, сыт по горло? Не можешь видеть своего заключенного, боишься его острого языка?“ — подумал он злорадно, а вслух произнес:

— Вы можете меня не сопровождать.

В собачьих глазах директора Дикс прочел чувство

нескрываемого облегчения. От этого, от всего разговора, от только что просмотренных писем Дикс неожиданно почувствовал досаду, быстро переросшую в неуверенность и сомнение... Собственно, так ли уж необходимо встречаться с Димитровым?

Шагая рядом с лейтенантом по длинным мрачным коридорам, он вновь припомнил содержание последней телеграммы и почувствовал, что его нерешительность усилилась. Особенно неприятно на него подействовало то место, где говорилось о „гласности суда“. Явно Димитров не боялся уже никакого суда, считал себя неуязвимым перед властями. Только что закончившийся процесс обострил, как видно, еще больше его полемический дар, и теперь он был готов встать во весь рост перед любыми судьями... Так разве он дрогнет перед таким противником, как Дикс?

Этот вопрос, вдруг возникший в его голове, вконец раздосадовал Дикса и заставил еще более замедлить шаги.

— Пришли, господин министерский советник! — услышал Дикс голос лейтенанта.

Молодой офицер остановился перед массивной железной дверью, над которой виднелась цифра „47“, и принялся перебирать большую связку ключей.

Дикс уставился на дверь. Значит, здесь, в этой камере, находится человек, причинивший столько неприятностей высоким особам рейха? Нужно ли в самом деле встречаться с ним? Разве трудно заранее представить, что скажет Димитров и как будет держаться? И откуда вообще у него взялась эта нелепая блажь?

Он увидел, что дежурный офицер нашел наконец нужный ключ и хочет сунуть его в скважину. И в тот же миг Дикс совсем отчетливо понял, что он не желает, не может переступить порог камеры.

— Стойте! — дернул он грубо лейтенанта за руку. —

Кто вам сказал, что я войду?.. Откройте это!

И он указал подбородком на маленький глазок, вырезанный в двери.

Пораженный и напуганный, Вальтер поспешил отодвинуть в сторону металлическую заслонку, прикрывавшую глазок. Дикс, затаив дыхание, заглянул в камеру.

Несколько секунд он смотрел, ровным счетом ничего не видя. Потом из темноты выплыла скудная обстановка камеры. Вначале ему показалось, что там густо, но вскоре Дикс заметил Димитрова. Тот лежал на узкой койке справа от двери. Лица его Дикс не видел, он разглядел только пышную шевелюру. Узник был одет в темно-синий костюм, поверх которого наброшен макинтош.

Дикс окинул взглядом камеру. У противоположной стены стоял грубо сколоченный стол, заваленный книгами, на нем белел полуисписанный лист бумаги, а рядом — очки. Кроме стола в помещении находились низенькая этажерка для книг и ведро. Несмотря на скудность и убогость обстановки, камера казалась обжитой, аккуратной, от нее даже веяло своеобразным уютом. За десятилетнюю службу в полиции Диксу довелось побывать не в одной камере коммунистов, и, за малым исключением, он всюду наблюдал одинаковое умение устроить свой быт, навести порядок и чистоту. „Эти люди рождены жить в тюрьме!“ — говаривал он иногда.

Послышалось настойчивое чириканье воробьев, и Дикс увидел, как Димитров отбросил макинтош и встал с кровати. Диксу представилась возможность рассмотреть заключенного во весь рост. Это невысокий человек, но из-за худобы, а, может, из-за густой шевелюры он не производил впечатления низкорослого. В осанке его и в походке была столь необычная живость, что Дикс лишь подивился. Он прикинул в уме — Димит-

рову минуло пятьдесят, кроме того, он провел около года в тюрьме.

Димитров подошел к окошку и открыл одну створку рамы. Птичья стая с шумом вспорхнула. Поднял брови и ласково улыбаясь, узник отодвинул шторку на этажерке, что-то искал там и, не найдя, посмотрел на воробьев. И Дикс понял: Димитров прикармливал воробьев, а сейчас у него не было хлеба. Димитров несколько секунд стоял неподвижно, потом подошел к столу и сел. Он сидел, повернувшись к двери, и Дикс мог рассмотреть его лицо. Бледное, истощенное. Казалось, на нем можно было прочесть все, что было пережито за последние десять месяцев. На лоб падала прядь слегка поседевших волос, которую Димитров так и не убрал. Он смотрел прямо перед собой, и Дикс понял, что он думает, вероятно, не о птицах, а о чем-то своем: птицы ему напомнили что-то. В том, как он подпер рукой голову, в сосредоточенном выражении лица — во всем чувствовалась глубокая горечь, сдержанная гордая боль.

Димитров надел очки, склонился над бумагой и снова снял их. И хотя скорбная тень еще не растаяла на его лице, выражение лица стало постепенно меняться. Вот в глазах появился чуть заметный блеск, подбородок стал тверже, голова медленно поднялась.

Теперь уже Дикс не мог бы сказать, что занимало ум Димитрова, но это новое выражение красноречиво говорило о несгибаемости его духа, активности мысли, оно-то и повергло Дикса в смущение. Безошибочная интуиция профессионального полицейского подсказала Диксу, как нелегко будет убрать этого человека. Это необъяснимое предчувствие возникло в нем сразу, пронзив с быстротой молнии все его существо и оставив в сознании глубокий след.

Хмурый и расстроенный, он оторвался от глазка, вспомнил о вчерашнем разговоре с Герингом и желчно

усмехнулся — так вот чем были продиктованы щедрые комплименты премьер-министра! Да, он не мог не знать, как дьяволски трудно будет исполнить сверхсекретный приказ, и своим доверием связал его по рукам и ногам.

Дикс стиснул зубы. Значит, они ловко использовали его готовность служить новому режиму, зная о болезненном самолюбии, о желании подниматься все выше по служебной лестнице и постоянном страхе оказаться в тени или немилости... В сущности, Геринг правильно все рассчитал с самого начала!..

Дикс вздохнул и снова заглянул в глазок. Димитров склонился над рукописью, прядь по-прежнему падала на лоб. Неизвестно почему, именно эта прядь особенно взбесила Дикса. Несколько секунд смотрел он на Димитрова злобно горящими глазами, потом резко отпрянул от двери.

— Проводите меня! — сказал он, не взглянув на офицера, и, нервным движением надевая перчатки, быстрыми шагами двинулся вперед, словно стремясь как можно скорее вырваться за пределы этого мрачного, гулкого коридора.

16.

С момента возвращения в Берлин Марту не покидало плохое настроение.

Она понимала, что причиной тому было молчание Дикса, но старалась не придавать большого значения этому факту. Еще менее она была склонна звонить ему сама или искать встречи. Чтобы не выдать себя перед домашними и несколько развлечься, Марта с головой ушла в светскую жизнь города.

Первая для нацистов зима была полна шумных приемов. Новые сановники лезли из кожи друг перед

другом, устраивая многолюдные „пивные“ вечера, шумные встречи с журналистами или кровавые охотничьи вакханалии в необъятных лесных угодьях Геринга в окрестностях Берлина. Однако самой большой популярностью и пикантной славой пользовались блестящие интеллектуальные сборища у Геббельса, на которых хромой министр пропаганды открыто выражал свои симпатии к молодым звездам театра и кино и тем самым открывал им путь к вершинам карьеры и славы.

Иностранные дипломаты со своей стороны также часто приглашали столичную элиту на коктейли „а ля фуршет“ и прочие встречи.

Впрочем, стремление к общению и взаимным знакомствам было обоюдным и вызывающе подчеркнутым. Немцы старались всеми силами развеять невыгодное впечатление о жизни бедных послевоенных лет, ошеломить мир единством и сплоченностью своих рядов и недвусмысленным намерением вновь играть первостепенную роль в Европе, а представители прочих держав проявляли живой, хотя и с известной долей беспокойства, интерес к новому режиму в Германии.

Обычно Марта бывала на приемах в сопровождении брата или отца. Она часто ловила себя на том, что ищет среди множества людей знакомое лицо, жадно и нетерпеливо вслушивается в каждый мужской голос. Но Дикс не появлялся. . . На одном из коктейлей во французском посольстве Марта встретилась с недавно прибывшим в Берлин вторым секретарем советского посольства Игорем Михайловичем. Познакомил их Пьер.

С самого начала русский произвел на Марту хорошее впечатление. Он вполне сносно говорил по-английски. Это был элегантный, приветливый мужчина лет тридцати с лицом спортсмена, в волосах пробивалась ран-

няя проседь. Держался свободно и естественно, обладал чувством юмора. Как-то раз заговорили о Лейпцигском процессе и о судьбе Димитрова. (Накануне был приведен в исполнение смертный приговор над Ван дер Люббе). К удивлению Марты, русский как-то сразу замкнулся и почти не принял участия в обсуждении новости. Неизвестно почему, ей показалось, что новость очень заинтересовала его, хотя он отмалчивался. В конце коктейля он все же принял приглашение на танцевальный вечер, который ее брат хотел устроить на будущей неделе в посольстве.

По пути домой в порядке потрепанном „ситроене“ Пьера Марта не удержалась и спросила про Игоря. Пьер объяснил, что он член того самого полуправительственного комитета по спасению Димитрова, председателем которого является Галлахер. Марта узнала еще одну новость, глубоко ее поразившую. По словам Пьера, Игорь получил из абсолютно надежного источника сведения о недавно состоявшемся совещании в министерстве иностранных дел, где Дикс активно выступил с идеей направить Димитрова в концентрационный лагерь.

Несколько дней Марта ходила расстроенная, сбита с толку. Она то пыталась не принимать всерьез услышанное от Пьера, то вспоминала располагающее к доверию лицо Игоря и говорила себе, что он не может выдумать такое. Но более всего ее мучило упорное молчание Вольфа. Она предположила даже, что он у родителей в Ганновере и после Нового года разыщет ее. Но Дикс продолжал хранить молчание.

И когда однажды поздно пополудни он позвонил ей и поинтересовался, сможет ли она встретиться с ним вечером, Марта испытала и приступ недоверия, и чувство опьяняющей радости и нетерпения.

Они встретились в кафе „Альдон“ на Унтерденлин-

ден и долго молча рассматривали друг друга, отчужденные и еще более стремящиеся один к другому. Дикс первым поборол волнение и поспешил извиниться, что не позвонил до сих пор. Пока он говорил усталым голосом, как был страшно занят последнее время, Марта невольно вспомнила о многочисленных вечерах в посольствах и в их резиденции и слегка устыдилась.

— Видимо, вы и правда были так заняты, что после Нового года я не встречала вас ни на одном коктейле, — улыбнулась она доброжелательно и как-то незаметно для себя начала рассказывать новости об их общих знакомых.

Вновь, как месяц назад, они нашли тот приятный полусерьезный, полуироничный тон, что так их сблизил с самого начала, а позднее разрешал заговорщицки улыбаться друг другу в разгар шумных торжеств. Сейчас Дикс искреннее развеселился, узнав об огненно-красном платье супруги итальянского посла, которая прославилась своей нескрываемой слабостью к премьер-министру Герингу. Она явилась на один из коктейлей в этом вызывающем туалете, явно предназначенном для высокого гостя. Доложили о прибытии Геринга, и все с любопытством обернулись к дверям.

— Представляете себе наше удивление, — сказала Марта, — когда на пороге появился огромный господин, облаченный в элегантный фрак такого же ярко-красного цвета! Госпожа Черутти, сохранив полное самообладание, подхватила гостя под руку, и вдвоем они пронеслись по залам подобно огненным шарам...

Дикс смеялся долго, от всего сердца. Потом ей захотелось было рассказать об Игоре, но в последний момент, сама не зная почему, она передумала и завела разговор о мастере высшего пилотажа Удетте, которого представили ей во время охоты.

— Мне кажется, этот человек не знает, что такое

страх, — сказала она. — Вы с ним хорошо знакомы, Вольф?

Дикс посмотрел на часы.

— Если желаете, можем его повидать. Я знаю, где обычно бывает Эрнст. Согласны?

Она посмотрела на розовый шрам на лице Дикса и неожиданно спросила:

— Вы не рассказывали, откуда у вас этот шрам. . . Но я догадываюсь — это следы дуэли, да?

Он кивнул, слегка нахмурясь.

— О, как интересно! — продолжала она задумчиво. — А мне казалось, что уже нет мужчин, способных на дуэль.

Дикс как-то неестественно улыбнулся.

— Впрочем, некоторые, пожалуй, отважились бы, если бы потребовалось! — добавила она, словно говорила сама с собой. — Вот этот Удетт, например. . .

— Ну, пошли? — прервал он ее чуть снисходительным тоном. — Эрнст наверняка уже в Рокс-баре.

Она посмотрела на Дикса внезапно расширившимися глазами. Неужели все это правда, о чем твердил Пьер?.. Марта быстрым взглядом окинула его лицо, увидела спокойные зеленоватые глаза, красиво очерченные губы, умный лоб и тотчас отбросила подозрение. „Нет, не верю — не могу, не хочу верить!“

В такт шагов она легонько прижалась к Диксу, протянула руку и провела пальцем по шраму на его щеке.

— Вы не ответили, из-за чего дрались?.. Из-за женщины, конечно?

— Нет, я защищал честь своего профессора!

Марта заморгала от удивления, потом погладила его руку.

— Как это благородно! Вы прекрасны, Вольф!

В баре Удетта не оказалось, вместо него Дикс показал ей других знаменитостей третьего рейха —

известных артистов, жокеев и гонщиков-автомобилистов.

Они сели за уютный столик, и Марта заметила, как несколько человек вежливо поздоровались с Диксом. Они выпили бутылку шампанского, потанцевали на залитой разноцветными лучами прожекторов площадке, затем смотрели ревю, нежно переплетя пальцы.

Когда в зале зажглись лампы, Марта увидела, как за большим соседним столом среди жокеев и гонщиков появился мужчина в смокинге, с пронизывающим взглядом необыкновенно глубоких темных глаз. Дикс также его заметил и кивнул головой. Мужчина на мгновение остановил на Марте свой взгляд, и у той по коже побежали мурашки. Потом он обернулся к своим сотрапезникам, которые казались необычно серьезными и даже несколько оробевшими...

Позднее, медленно шагая по тротуару, Марта спросила Дикса, кто был этот мужчина в смокинге. Дикс ответил не сразу.

— Его зовут Ганусен, — сказал он. — Он иллюзионист и ясновидец.

Она замедлила шаг, это имя о чем-то ей напоминало.

— Пойдите, уж не тот ли это ясновидец, о котором говорят, что он предсказал пожар в рейхстаге? — вспомнила она то, о чем однажды слышала от Пьера и его друзей.

— Да, рассказывают, — ответил Дикс. — Одно знаю точно, накануне прошлогодних гонок в Нейбургер-ринге этот Ганусен предсказал смерть одному гонщику, и предсказание сбылось.

Марта молчала. Потом, когда они ехали в такси, подняла стекло, отделявшее их от шофера, и тихо сказала:

— Рассказывают и другое, что этот Ганусен —

человек нацистов и они заставили его предсказать пожар.

Дикс закурил сигарету.

— Мне не верится.

Оба помолчали. И поскольку он пытался отвергнуть то, что большинство считало бесспорным, а может, потому, что она продолжала чувствовать на себе пронизывающий и какой-то нечистый взгляд ясновидца, Марта внезапно вспомнила об обвинениях Пьера, и нетерпеливое желание немедленно проверить их вновь овладело ею.

Она было открыла рот, чтобы прямо задать вопрос о совещании в министерстве иностранных дел, но вдруг почувствовала, как ей стало необычайно хорошо, и, успокоенная, прижалась к его плечу. „Нет, неправда, все, что наговорил Пьер, — неправда!“ — промелькнуло у нее в голове. Потом она спросила, который час, и, услышав в ответ, что уже три, тихо воскликнула:

— Как, в самом деле так поздно?

— Не беспокойтесь! — сказал Дикс. — Ваши родители не рассердятся. Моя компания вполне достаточная гарантия вашей абсолютной безопасности!

17.

Однажды утром, около десяти, Димитрова вызвали в кабинет директора. Он покинул камеру с предчувствием недоброго. Никогда ранее — ни тогда, когда он был подсудимым, ни после оправдания, — ему не оказывали подобного внимания. Проходя по коридорам, подымаясь по гулким железным лестницам, он все время думал о матери и со страхом ожидал, что сейчас директор официально сообщит скорбную весть. Но, увидев его необычайно оживленную физиономию,

Димитров отбросил это предположение. „Наверное, меня хотят перевести в другое место, и директор сам хочет проинформировать и подготовить заключенного“.

Основания для такого подозрения существовали. Вчера во второй половине дня его неожиданно отвели в просторную камеру, где уже находились Танев с Поповым. Он их не видел с того самого вечера, когда был объявлен приговор, и они показались Димитрову еще более похудевшими и измученными. Им разрешили часа полтора побыть вместе, поиграть в шахматы, а потом опять развели по камерам. Димитров долго пытался разгадать смысл столь неожиданного жеста тюремной администрации, но не пришел ни к какому заключению. И вот его вызывает сам директор! „Наверняка хотят перевести! — подумал он снова. — Потому и разрешили повидаться с Таневым и Поповым, может быть, в последний раз“.

Он внимательно взгляделся в покрасневшее лицо директора. Смущенный его пристальным взглядом, этот полный человек с неестественной резвостью почти что выпрыгнул из-за бюро, любезно указал гостю на кресло и предложил сигару. Димитров все еще не мог понять, куда тот гнет, но сигару взял, прикурил от поданной директором спички и с удовольствием втянул в себя ароматный дым.

В ту же секунду открылась дверь, и в кабинет ввели Танева и Попова. На их лицах застыло выражение внутреннего напряжения, они испуганно оглядывались по сторонам. „Значит, переведут всех троих!“ — подумал Димитров со смутной тревогой, но постарался ничем не выдать свое беспокойство, пожал руки товарищам и пошутил относительно неожиданной щедрости начальства. И опять, как тогда в машине, когда их последний раз везли из города, он с волнением почув-

ствовал, что его спокойствие передалось Таневу и Попову.

Принесли кофе, налили по стакану содовой. Тем временем в помещение вошли заместитель директора тюрьмы, дежурный офицер Вальтер и рассыльный. Димитров было собрался спросить директора, чему он с друзьями обязан подобной чести, как в коридоре раздались шаги, потом стук в дверь, и тут же на пороге появилось двое мужчин в гражданском в сопровождении молодого надзирателя. Прежде чем Димитров сообразил, что это за люди, один из них, сделав несколько быстрых шагов к столику, направил на трех узников объектив небольшого фотоаппарата, висевшего у него на груди. Послышался короткий щелчок, и в тот же миг Димитров вскочил с места.

— Чем дело, господин директор?.. Это шантаж!?

Полный мужчина, поспешно отступая назад, делал руками те быстрые, прерывистые движения, какими обычно люди успокаивают кого-нибудь или просят говорить потише.

— Я все объясню вам, господин Димитров, прошу вас, не волнуйтесь! Эти господа — журналисты. Они выразили желание встретиться с вами, задать несколько вопросов и потом рассказать через свои газеты о вашей жизни у нас в тюрьме... Вот почему...

— Чудесно, а это, должно быть, их визитная карточка! — подхватил язвительно Димитров, резким жестом указав на фотоаппарат. — Самым решительным образом я протестую против подобной недостойной игры! Вы нас обманули, а сейчас намерены спекулировать на этих сигарах и кофе. Однако не рассчитывайте, что мировая общественность настолько наивна!

Журналисты слушали с возрастающим чувством

смушения. Владелец аппарата поспешил извиниться, объясняя, что снимок необходим его газете, дабы уверить миллионы читателей, что прославленный болгарин жив и находится в добром здравии. Этот человек гораздо больше походил на киноартиста, чем на журналиста, — модно одетый, он источал аромат дорогого одеколона.

Второй выглядел совсем по-иному. У него был вид типичного газетчика, привыкшего выполнять черную работу, сидеть по десять часов кряду за машинкой. И лицо у него было широкое и грубоватое, как у людей из народа. Он был в толстом пиджаке в клетку, из-под которого виднелся пуловер.

Димитров едва сдерживал гнев. Он давно не помнил, чтобы его провели таким простым и коварным образом. Досадовал он прежде всего на себя, потому что должен был предвидеть нечто подобное, раз его пригласили в директорский кабинет!.. Ему захотелось уйти, наотрез отказаться от каких бы то ни было интервью, но, подумав, он отбросил эту мысль. Поступи он так, журналисты получили бы возможность писать бог знает что и публиковать снимок с любыми отвратительными комментариями. А что же тут удивительного? Директор, несомненно, проинформировал бы их о вчерашней встрече его, Димитрова, с Таневым и Поповым в нужном для себя свете. Нет, от разговора все же не следует отказываться. За недогадливость и непредусмотрительность он поплатился, ошибка сделана, так необходимо ее исправить и, по возможности, извлечь при этом какую-нибудь пользу!

Не особенно дружелюбно посмотрев на журналистов и подчеркнув, что не в восторге от подобного способа знакомства, Димитров заявил, что тем не менее готов ответить на их вопросы.

Крайне довольный таким оборотом дела, директор с явным облегчением вздохнул и, распорядившись, чтобы принесли бумагу и карандаши, предложил сигареты. Из гостей старшим по возрасту был человек в клетчатом пиджаке. Он попросил разрешения представить себя и своего коллегу. Выяснилось, что он корреспондент агентства Рейтер, а „его товарищ“, граф Шафалитский, — представитель крупной датской ежедневной газеты. Целью их посещения было узнать, как содержат Димитрова в тюрьме, не нуждается ли он в чем-нибудь.

— Если желаете, мы можем попросить господ оставить нас одних, — предложил англичанин, указывая не очень учтивым жестом на немцев.

Димитров задумался, потом отрицательно покачал головой.

— В этом нет необходимости. Наоборот, даже лучше, если будем говорить в их присутствии.

И интервью началось. Уже после первых вопросов Димитров понял, что граф, обладая шикарным кожаным блокнотом, не имел почти никакого журналистического опыта, — возможно, он просто был личным другом какого-нибудь берлинского сановника и таким образом попал сюда. Несомненную профессиональную хватку проявил англичанин, но Димитров пока еще не уловил, какую задачу поставили перед ним и куда он пытается повернуть разговор. Расспросив о некоторых бытовых подробностях, корреспондент агентства Рейтер закурил трубку и поинтересовался, какого мнения Димитров о германском правосудии.

Димитров внимательно его выслушал.

— Прежде чем ответить на этот вопрос, я желал бы заявить следующее! — сказал он. — Я — пленный, которому премьер-министр Пруссии публично угрожает смертью. И поскольку не имею возможности проверить,

как будут переданы мои мысли, я не склонен вести политическую дискуссию. Но так как вы потрудились прийти сюда, воспользуюсь случаем, чтобы в вашем присутствии еще раз выразить протест против условий, в которых нас содержат, а главным образом против того, что нас все еще продолжают держать здесь, несмотря на то, что вынесен оправдательный приговор.

Немцы задвигались и зашумели. Заместитель директора тюрьмы приблизил ухо к шефу, а тот с мученической миной закрыл глаза.

Димитров выждал немного и продолжал:

— Для меня совершенно ясно, господа, что глубочайшее желание и тайное намерение нацистского руководства — ликвидировать меня прежде всего морально, а затем, разумеется, и физически. С этой целью делается все, что могло бы мучить меня, сломить мой дух и волю. И хотя все мы трое оправданы компетентным германским судом, нас все еще не желают поместить в одну камеру. Впрочем, вчера мы действительно провели некоторое время в одной камере, и только сейчас я понял, в чем тут дело... — Он бросил строгий, полный возмущения взгляд на директора. Тот быстро потупил взор. — Кроме того, я почти убежден, что мои письма разным официальным лицам и ведомствам не выходят за порог тюрьмы.

— Вы располагаете доказательствами? — прервал его заинтересованный этим сообщением английский корреспондент.

Димитров почувствовал, как возле бюро воцарилось гробовое молчание.

— Я сказал — почти уверен... Но господа здесь — они могли бы фактами опровергнуть мои подозрения.

Журналисты повернулись к директору.

Тот выглядел сейчас беспомощным и обескураженным.

— Всякая тюрьма подчиняется внутренним правилам, господа, — произнес он невнятно.

— Пусть мне ответят, — продолжал Димитров, не спуская глаз с английского журналиста, — отправлена ли, например, в Софию составленная мною три дня назад телеграмма, которую я адресовал премьер-министру Болгарии?

Англичанин с нескрываемым любопытством опять обернулся к немцам. Директор и его помощники переглянулись.

— Могу напомнить ее содержание, — сказал Димитров, все еще продолжая смотреть на английского корреспондента. Потом медленно, отчетливо повторил текст телеграммы, словно старался ее продиктовать.

Англичанин слушал с исключительным вниманием.

Ошарашенные, немцы не догадались его прервать. Лишь под конец директор, придав голосу внушительный тон, произнес:

— Эта телеграмма, как и письма, отправлена... в соответствующее место.

— Вы слышите, господа! — повысил голос Димитров. — Если вы дорожите истиной и уважаете свою профессию, вам не следует оставлять этот вопрос без последствий.

Наступило молчание. Потом послышался скрип модных лаковых ботинок графа Шафалитского.

— Пслагаю, мы больше не смеем отнимать время у господ. — Он встал с кресла и одарил Димитрова стандартной улыбкой. — Благодарю за отзывчивость, господин Димитров. Можете быть уверены, что ваши слова появятся на страницах моей газеты без каких-либо искажений.

— Я был бы рад, но позвольте глубоко усомниться в этом.

Граф не сумел скрыть своей досады. Он бросил беглый взгляд в сторону Танева и Попова и вновь обратился к Димитрову:

— Мы ни слова не слышали от ваших соотечественников, господин Димитров... Впрочем, так было и на процессе, чему тут удивляться — партийная дисциплина исключает личное мнение.

От лучезарной улыбки не осталось и следа, на его удивленном лице неожиданно появилось мелочное, склочное выражение:

— Ошибаетесь, господин Шафалитский! — сказал спокойным голосом Димитров. — Могу вас уверить, что мои товарищи, если бы знали немецкий язык, могли порассказать о таких вещах и там, на процессе, и здесь, на нашей милой встрече, что вы, пожалуй, оказались бы в крайне затруднительном положении, пожелай вы опубликовать их речи, хотя у вас, конечно, не существует никакой партийной дисциплины!

— Оставьте споры, граф, вы проиграете! — скривил в усмешке губы английский корреспондент. — Не забывайте, что на суде многим досталось от острого языка господина Димитрова.

Шафалитский почувствовал себя уязвленным и пожал плечами.

— В таком случае господин не должен удивляться, почему германские власти так относятся к нему, — сказал он. — Тон, который он имеет обыкновение брать...

— Тон определяет музыку, господин Шафалитский! — отпарировал, усмехаясь, Димитров.

Журналисты собрались уходить, но англичанин неожиданно прошептал что-то своему коллеге и обратился к директору тюрьмы:

— Прошу вас, господа, оставьте нас наедине с господином Димитровым. — Потом, повернув голову к

Димитрову, добавил с еще более почтительной интонацией: — Я должен сообщить вам нечто важное, но для этого мы должны остаться одни.

Когда все покинули просторный кабинет, корреспондент агентства Рейтер вынул изо рта трубку и сказал:

— Господин Димитров, я лично уполномочен одним имперским министром сделать вам важное предложение. Германское правительство готово освободить вас и немедленно выслать за пределы страны при единственном условии, что вы где бы вы ни находились на родине или в другой стране, — даете слово не проводить никакой пропаганды в устном или письменном виде против режима и вождей третьего рейха. Если вы принимаете это условие, то через двадцать четыре часа можете покинуть Германию, разумеется, вместе со своими товарищами.

Димитров молчал, пораженный услышанным. Лишь на миг его сердце сжалось в болезненно-сладостной спазме — он живо представил, как проходит через широкие ворота тюрьмы и быстро направляется в город. В предложении, только что прозвучавшем из уст корреспондента, было нечто сколь притягательное, столь и страшное, от чего у Димитрова, казалось, на несколько секунд перехватило дыхание. Но он резко встал и, застегивая пиджак, сухо сказал:

— Я должен в письменной форме принять это обязательство или достаточно моего честного слова?.. — И прежде чем услышать ответ чуть сконфуженного собеседника добавил: — Прошу, передайте тем, кто вас направил, что если за три месяца нашего общения они так мало меня узнали, то это говорит не в пользу их интеллигентности. — Он посмотрел испытующим взглядом на англичанина. — Позвольте и мне в заключение задать вам один вопрос... Скажите мне

откровенно, лично вы допускаете, что я могу принять подобное предложение?

Крепко сжав в зубах погасшую трубку, корреспондент выдержал его взгляд.

— На один мой вопрос вы не ответили, — сказал он.
— Думаю, что я имею право сделать то же самое.

Секунду-другую они еще молча смотрели друг на друга, потом корреспондент сдержанно кивнул и направился к двери.

18.

Клуге вытянулся перед дежурным офицером в ожидании неприятного разговора. Вальтер выглядел сердитым и немного обиженным, казалось, его только что несправедливо отчитали. Он долго молчал, заставляя старика по стойке смирно стоять возле бюро и, лишь выдержав мучительную паузу, произнес необычайно тихо:

— Я, кажется, предупреждал вас смотреть в оба и не вести разговоров с этим поджигателем Димитровым?

Клуге опустил голову.

— Предупреждал? Отвечайте!

— Так точно! — промолвил Клуге, встревоженный странным тоном начальника и особенно тем, что сам за собой не чувствовал никакой вины.

— А если так, почему же вы продолжаете шляться к нему и киснуть в его камере?

— Никак нет, господин лейтенант! — сказал Клуге. — Я прихожу, когда положено.

— И тотчас уходите, так? — насмешливо вскинул брови офицер.

— Да.

— Посмотрите мне в глаза, Клуге!.. Каким же образом узнал этот тип, что его письма задерживают?

Клуге вздрогнул, изумленный и испуганный этим неожиданным вопросом.

— Не могу знать, господин лейтенант, — ответил он.
— Я ничего ему не говорил. Все письма, которые он мне давал, я приносил вам лично.

Оба замолчали. Клуге не смел поднять глаз на офицера... Неужели Димитров его выдал?.. Ерунда, как только такое может прийти в голову! Наверняка, он догадался сам и заявил протест. А эти сразу ухватились за меня..., „Сами ничего не знают, вот и выспрашивают, надеются взять на испуг... И все же, пожалуй, меня уволят... Что-то будет с Ренатой?“

Клуге решительно шагнул к бюро.

— Поверьте, господин лейтенант, могу поклясться, если хотите... Я ни о чем ему не говорил.

— Разберемся! — с досадой бросил Вальтер. — А сейчас ступайте! Я предложил перевести вас в другое отделение, завтра сообщу куда.

И, увидя, как с облегчением вздохнул надзиратель, добавил вновь раздраженно:

— Разумеется, я не могу вам обещать, что этим дело и кончится. Не удивлюсь, если вас... заставят быть немножечко поразговорчивей в гестапо.

По пути домой Клуге тщетно ломал голову, пытаясь уразуметь, что же случилось... Слава богу, он не послушался детских советов Ренаты и не отправил телеграмму, а отнес ее на следующее утро в канцелярию! Да, еще эти деньги... Но он вернул их Димитрову, да и знали об этом лишь они оба, а кроме того, Клуге не объяснил, почему возвращает их. И вообще он не проронил ни единого слова о письмах. Клуге с чистой совестью мог утверждать это, даже если бы его подвергли самым страшным истязаниям.

Он вдруг остановился посреди тротуара, неожиданно вспомнив о двух парнях, которых на днях доставили в тюрьму. После побоев и пыток они едва держались на ногах. Как узнал Клуге позже, они распро-

страняли листовки с призывом освободить Димитрова и только за это получили по три года тюремного заключения.

Он вздохнул, охваченный внезапным страхом. Три года за листовки, призывавшие дать свободу человеку, оправданному верховным судом! Всего этого Клуге никак не мог понять, и его тревога продолжала расти... „Ничего не скажу Ренате!“ — подумал он, но не поверил, что сдержится, — уж слишком хорошо он знал себя, и дочь сразу поймет — что-то случилось.

Когда он вошел в свое маленькое жилище и стал снимать сапоги, из комнаты раздался счастливый голос Ренаты:

— Отец, скорей!.. У меня очень важная новость.

Клуге застал дочь с раскрытым на коленях атласом. На ее лице была радость и глубокое, внутреннее удовлетворение. Обычно таким становилось ее лицо, когда она кончала чтение книги, где добро торжествовало над злом.

— Отец, ты этого, должно быть, еще не знаешь... Телеграмму напечатали в одной швейцарской газете.

В первую минуту Клуге никак не мог взять в толк, о какой телеграмме идет речь, потом, потрясенный, уставился на дочь:

— Кто тебе сказал?

Рената не обратила внимания на его глухой голос и, заставив отца сесть рядом, взяла его замерзшую руку в свои теплые, слабые ручки и воскликнула с искренним волнением:

— Я горжусь тобой, милый папа, ты не знаешь, как я горда! — Она проглотила подступивший к горлу комок и продолжала: — Как всегда, в час дня я решила послушать новости. Стала настраиваться на Вену, но неожиданно наткнулась на радиостанцию Цюриха. Передавали обзор сегодняшних газет. Я хотела было повер-

нуть ручку, как вдруг услышала, что в „Нойе цюрихер цайтунг“ помещена телеграмма Георгия Димитрова болгарскому премьер-министру... Наша телеграмма, та самая, я сразу ее узнала... О, папа, как я обрадовалась!.. — Она крепко сжала его руку, потом, задумчиво глядя, тихо произнесла: — Да, мне тогда стало радостно и как-то грустно. Теперь ему, конечно, разрешат вернуться в Болгарию, — подумала я, — и он уедет. Я никогда его не видела, но знала, что он здесь и что ты каждый день ходишь к нему... — Рената виновато улыбнулась, и лицо ее вновь радостно оживилось. — Я понимаю, что все это глупо, и ты удивляешься, как я могу рассуждать так, правда?

— Послушай, дочка, а они не сказали, как к ним попала телеграмма? — осторожно спросил Клуге, стараясь не выдать растущее чувство страха.

— Ну как же, в конце сообщили, что телеграмма была хитростью вынесена из тюрьмы. Когда я услышала это, у меня чуть сердце не выскочило из груди. Мне захотелось закричать: „Знаете, кто вынес телеграмму? Мой отец! Сперва он показал ее своей дочери, а потом передал копию близким Димитрова, потому что так разумнее и безопаснее всего!“.

Клуге отвернул от Ренаты голову и потихоньку освободил руку из ее ладоней. Недоразумение, смущение и страх переплелись в его душе и заставляли прятать взгляд от дочери... Разумеется, она поверила в его наивную ложь и считала, что он поступил так умно и благородно! А он и сам не понимал, как вечером в тот понедельник пришло ему в голову сочинить всю эту историю. Он сказал тогда ей, что долго думал, прежде чем решил передать телеграмму в канцелярию, но предварительно переписал текст и передал близким Димитрова, которые — как он знал — живут в гостинице „Зеленое дерево“. Клуге казалось, что

Рената должна остаться довольной, а с другой стороны, вся эта ложь не была слишком грубой. И, действительно, дочь с облегчением и радостью выслушала его слова, и это его успокоило.

И вот сейчас произошло самое страшное и самое неожиданное — телеграмма все-таки была передана из тюрьмы и опубликована в иностранной газете. Клуге не мог объяснить, как это случилось, и начал испытывать легкую дрожь, стоило вспомнить разговор с дежурным офицером, его зловещий, тихий голос и, особенно, туманный намек насчет гестапо. Сейчас ему стала ясна причина скрытой ярости лейтенанта и то, в чем он подозревал Клуге. Ноги старика подкосились. Если Рената знала эту новость, в тюрьме, наверняка, знали то же и уже подумали о нем. И поскольку доказательствами, чтобы уличить его, они не располагали, то, конечно, учинят допрос и будут следить, а может, в довершение всего отправят в лагерь.. Если все обойдется увольнением, нужно будет только благодарить бога!

— Но ты не радуешься, отец, что с тобой? — донесся до Клуге грустный голос Ренаты. Старик поднял голову.

— Радуюсь, Рената, отчего бы не радоваться? — произнес он неуверенно и попытался через силу улыбнуться.

Она задумалась, по привычке склонив голову набок.

— Не нужно расстраиваться, что ты сделал так мало для него... Конечно, он заслуживает большего, но и то, что сделано, никак не назовешь пустяком.

Клуге в смущении смотрел на нее. Ему стало предельно ясно, что думала дочь о нем и какими незаслуженными похвалами награждала. Он вдруг почувствовал такой стыд, что был готов провалиться сквозь землю. Какая кристально невинная душа обитала в этом хилом, полумертвом теле! Какой ангел

жил рядом с ним, как же он не подозревал об этом!.. О, если бы Рената могла представить себе тот ужас, от которого леденела кровь в его жилах, если бы всего на миг могла допустить, что он обманул ее и не имеет никакого отношения к тому, что телеграмма проскользнула сквозь стены тюрьмы!.. Клуге собрался было сказать ей обо всем, но, встретив взгляд больших лучистых глаз, озаренных необыкновенным светом, тотчас отказался от своего намерения. И в самом деле, так поступать не следовало — это выглядело бы святотатством, поступком более низким, чем любая ложь, которая несла ей радость...

Во время ужина они почти не разговаривали. Клуге заметил, что теперь Рената стала особенно задумчивой, углубленной в свои мысли, и им ненадолго овладело сомнение — а не выдал ли он невольно себя или, может, дочь поняла его мнимый героизм. Перед сном Рената не стала ни читать, ни слушать радио, попросила погасить свет. Клуге еще больше удивился и обеспокоился. Такого с ней почти не случалось. Еще более странным казалось то, что происходило это именно сегодня, в такой радостный для нее день. Он снова испугался, что, возможно, как-то проговорился и разочаровал ее. И вдруг, когда он думал, что она уже уснула, почувствовал, как ее рука ищет его руку.

— Ты спишь, отец? — спросила она удивительно бодрым голосом. — Хочу тебе признаться в том, что уже давно меня мучает.

— Я слушаю тебя, Рената! — пожал ободрительно Клуге ее тонкие пальцы.

— Я виновата перед тобой, отец... Много раз, особенно с тех пор как ты был приставлен к Димитрову, я спрашивала себя, можно ли назвать твою работу достойной... Не хочу от тебя скрывать, но я чаще всего

отвечала отрицательно, и не понимала, как можно заниматься таким делом...

— Ты же знаешь, Рената, что поступил я туда ради тебя, — прервал он ее с горечью.

— Да, знаю, потому и говорю, что виновата... Я не имею права сердиться на тебя, и все же, когда представляла себе, как каждый день ты запираешь заключенных в их камерах и оставляешь их наедине самих с собой, а сам отправляешься в город, мне становилось тяжело и как-то... темнело в глазах. Я не знала, был ли ты достаточно добр с ними, не оскорблял ли каким грубым словом, отвечал ли на их вопросы... Вот обо всем этом я и думала тогда, милый папа... Прости меня!

Он почувствовал, как сжалось горло, а в глазах защипало. Он не нашелся, что сказать Ренате, да та словно и не ждала ответа. Часто дыша, она приподнялась к нему еще ближе, крепко вцепилась в руку и приложила ее к своей щеке.

— Теперь знаю, что мои страхи были напрасными, — я поняла это сегодня, когда слушала радио... И потому так счастлива! Это лучший день в моей жизни, а ты — лучший из отцов, я так люблю тебя и прошу простить, что могла думать такие ужасные вещи...

— Я не сержусь... Спи!.. Не думай об этом! — сказал он сдавленным голосом.

Рената притихла, и вскоре до слуха Клуге донеслось ее равномерное, спокойное дыхание. Тогда Клуге повернулся на спину и уставился в темноту сухими, широко открытыми глазами. Он знал, что его ждут трудные, полные неизвестности дни, но думать о них ему не хотелось — это было бы грешно в такую чудную, поистине святую ночь.

Телеграмма действительно была опубликована в известной швейцарской газете, и лишь несколько человек знали, как она туда попала.

Резонанс был необычайно сильным.

Болгарское правительство оказалось под серьезным нажимом со стороны левой прессы и широких народных масс, и, несмотря на то, что прошение Димитрова официально не было получено в Софии, правительство вынуждено было дать ответ. Мощные демонстрации всколыхнули крупнейшие города Европы. Людские реки текли к немецким посольствам, где собравшиеся часами скандировали призывы, выражая протест против действий германских властей по отношению к Димитрову и его соотечественникам. Предпринимаемые по дипломатическим каналам усилия, направленные на высылку болгар, также возросли, а в Германии комитет Галлахера активизировал свою деятельность, засыпая правительственные учреждения всевозможными посланиями — просьбами, требованиями, предложениями.

Сообщения об этом с неумолимой быстротой и полной неотвратимостью доходили до Диска. Он узнал о телеграмме в тот же день, а утром следующего должен был проглотить две горьких пилюли.

Прежде всего, его помощник Хеббе в своем обычном служебном докладе с нескрываемым злорадством намекнул о крупном провале и извлек из папки номер цюрихской газеты, в которой телеграмма и редакционная заметка были педантично обведены красным карандашом. В последнее время Дикс получал все более убедительные доказательства того, как глубоко его ненавидел Хеббе. Дикс знал, что повод для этого недавно дал он сам. Привезя из Лейпцига копию переписки Димитрова, Дикс в числе прочих бумаг

показал Хеббе и телеграмму, адресованную Мушанову, и попросил своего помощника высказать о ней мнение. Видимо заинтригованный, Хеббе вытянул длинную шею и, немного подумав, сказал:

— Очень странное прошение, господин директор... Но от этого человека, разумеется, можно всего ожидать.

— Верно, вам его лучше знать! — заметил с иронией Дикс. — Не благодаря ли ему на процессе вам пришлось узнать, почему фунт лиха?!

Хеббе обиженно вскинул брови... В ноябре ему поручили сделать в Лейпцигском суде большой политический доклад, к которому он готовился дней двадцать. Когда работа была закончена, его бледные, стоящие торчком уши стали еще прозрачнее. Насколько Дикс был осведомлен тогда и как впоследствии убедился из протоколов, успех Хеббе был более чем скромным — Димитров без каких-либо затруднений опроверг его туманные и несостоятельные аргументы.

— Я имел возможность ознакомиться с вашим докладом, — пояснил Дикс. — Должен сказать, что я им далеко не очарован. Таким оружием мы фактически только облегчаем положение Димитрова.

Бесформенные розовые пятна появились на художном лице Хеббе, он несколько раз открыл рот, словно ему не хватало воздуха...

В конце того же дня Хеббе снова оказался в его кабинете. С улицы доносился барабанный бой, слышались отрывистые выкрики поющих и марширующих людей. Дикс и Хеббе подошли к окну. Прямо перед зданием четким строем, со знаменами и нацистскими эмблемами, проходила колонна молодых эсэсовцев. Люди на тротуаре останавливались и поднимали руки в гитлеровском приветствии. Но двое мужчин в макинтошах и с трубками в зубах — по-видимому, иностранцы — не сочли нужным вынуть руки из

карманов. Руководитель колонны подошел к ним, сказал что-то, указывая на людей вокруг. Мужчины покачали головами. Тогда эсэсовец дал знак своим, и дюжина здоровенных парней направилась к упорствующим иностранцам. Прежде всего они вытащили их руки из карманов, потом принялись спокойно, методично бить людей в макинтошах.

— Молодчаги! — воскликнул Хеббе.

Дикс отвернулся и подошел к бюро.

— Не вижу, что мы выигрываем от этого! — заметил он.

Когда через минуту он бросил взгляд на своего помощника, то увидел в его глубоких темно-голубых глазах такую бездонную ненависть, что невольно содрогнулся. Точно такое же выражение было у Хеббе и десять месяцев назад, в день, когда Геринг объявил о назначении Дикса. По нескрываемой зависти, которую он прочел тогда во взгляде Хеббе, и по тому, как тот не смог скрыть смертельной обиды, Дикс понял, что Геринг, верный своему пресловутому садизму, очевидно, не счел необходимым известить своих партийных сотрудников о смелом решении...

И вот сейчас Хеббе стоял перед бюро, чинно составив ноги, а в его протянутой руке была газета, и Дикс подумал, что если бы злорадство можно было измерить какими-либо музыкальными звуками, то его кабинет моментально наполнился бы оглушительной музыкой.

Вторую пилюлю приподнес Геббельс. Он позвонил по телефону и спросил учтиво, но холодно, какие высшие государственные соображения побудили задержать отправку телеграммы, в которой не содержалось ничего обидного и опасного для рейха. Спросил он также, что, по мнению Дикса, является более неприятным и невыгодным — отправить

подобную телеграмму по месту ее назначения или опубликовать в швейцарской газете с соответствующими комментариями. Дикс начал было невнятно говорить о данных ему указаниях проверять корреспонденцию Димитрова и несколько неуместно поспешил уверить министра пропаганды в том, что сам недоумевает, как телеграмма могла выйти за стены тюрьмы и кто мог составить к ней сопроводительный текст. Геббельс слушал молча, потом заметил:

— Не знаю, но полагаю, это в вашей компетенции. Хочу, однако, предупредить, что дело, возможно, не кончится только телеграммой. Вероятно, вскоре в печати появятся и сами интервью, если и на этот раз вы не окажетесь достаточно твердым и предусмотрительным.

На этом разговор завершился, и хотя Дикс знал, в чей огород Геббельс кидает камни, его тревога и растерянность возросли. Он ждал очередного звонка — от Геринга — и был готов выслушать куда более тяжкие и оскорбительные обвинения. Но Толстяк молчал. Прошел день, два — от Геринга ни звука. Тогда Дикс взял себя в руки и решил последовать совету Геббельса. Прежде всего он связался с Лейпцигом и распорядился усилить тюремный режим Димитрова. Потом отдал приказ Хеббе вызвать тех двух корреспондентов и предложить им представить для предварительного просмотра заметки о встрече с Димитровым в тюрьме.

На другой день Хеббе докладывал, что английский журналист отказался предъявить свои записи и угрожал, что будет жаловаться. В тот же день встревоженный Нейрат уведомил Дикса по телефону, что английский атташе по печати вместе с американцем Галлахером заявили протест по поводу вмешательства гестапо в нормальную работу их корреспондентов. Так как поездка журналистов в Лейпциг была задумана и

организована Нейратом, он считал себя обязанным довести до конца эту акцию и просил Дикса о содействии. Пользуясь случаем, барон повторил свою прежнюю просьбу ходатайствовать перед Герингом о скорейшем решении вопроса об участии болгар. Дикс пообещал сделать все возможное и, лишь положив трубку, сообразил, что их разговор подслушивали, как, впрочем, подслушивали и все другие разговоры, которые министры старого режима вели по своим служебным телефонам.

Прошел еще день, и лишь тогда позвонил Геринг. Он был в хорошем настроении, весело рассказал, как провел время на охоте, а под конец разговора предложил выслать Галлахера из Германии как иностранца, злоупотребившего гостеприимством рейха. Успокоенный неожиданной благосклонностью Геринга, Дикс обещал немедленно решить этот вопрос, но не нашел в себе смелости обеспокоить шефа просьбой Нейрата. Вместо этого он приказал берлинскому полицей-президенту издать распоряжение о том, что американский гражданин Лео Галлахер должен покинуть Германию в двадцать четыре часа как „персона нон грата“.

На другой день в два часа Диксу позвонила Марта и попросила немедленно встретиться с нею. Вечером в американском посольстве должен был состояться прием, на который был приглашен и Дикс. Он спросил Марту, нельзя ли встретиться и поговорить на приеме, но она настаивала на встрече до этого, и тогда Дикс пообещал заехать за ней часам к четырем на центральный каток.

Едва было он собрался в Трептов, как раздался звонок секретаря Геринга, который сообщил, что шеф просил Дикса непременно быть в его ложе в Государственной опере.

Дикс опустил трубку и закрыл глаза. Неожиданно он почувствовал себя прижатым к стене, прижатым крепко и незаслуженно. Ему вдруг захотелось броситься в машину и мчаться вперед, не разбирая дороги, лишь бы не видеть никого, не знать ни о чем, не ведать, куда едешь. Он догадывался, зачем понадобился Марте, представлял тему разговора вечером в ложе оперы, с беспощадной ясностью понимал, что его ждет, и все это усиливало в нем непреодолимое стремление бежать... Как хорошо было бы махнуть на все рукой и отправиться в Ганновер, в отчий дом. Потихоньку войти в столовую. Мать и отец оторвутся от своих книг и оба одинаковым движением снимут очки. Потом мать встанет со старого расшатанного стула и со счастливым вскриком бросится к нему. Он дождется, когда все сядут за большой круглый стол, а отец с немного ворчливыми нотками в голосе спросит о его работе. Тогда он скажет тихо и просто: „Я оставил службу, возвращаюсь к вам, буду работать адвокатом или поступлю в какую-нибудь фирму...“ Дикс представил, как довольны останутся его старики. Отец спустится в погреб, принесет бутылку вина, налитого в год рождения сына, т.е. в те далекие времена, когда в Германии никто не имел и понятия, что к власти придет маньяк-ефрейтор и что его собственный сын, Вольф... Отец не закончит фразу, но Дикс легко догадается, что должно последовать за этим.

Он взглянул на часы. В его распоряжении было около четверти часа. И это его обрадовало, он почувствовал себя счастливым, совсем как в годы детства, когда, бывало, студеным зимним утром он просыпался минут на десять раньше положенного срока и мог себе позволить поваляться еще немного под толстым пуховым одеялом. Он вспомнил свою маленькую комнатку на втором этаже, постель и шкаф,

которые и ныне стоят там где двадцать пять лет назад, и вдруг ощутил смутную досаду. Он уже не представлял, как смог бы всерьез вернуться туда, на ту тихую, безлюдную улицу, как мог бы оставить свою роскошную квартиру, позабыть о кафе, приемах... Неужели нужно пожертвовать всем этим ради добровольного заточения в глухой провинции? А Марта? А возможности, которые вместе с ней открывались перед ним, если он вдруг окажется выброшенным за борт?

Дикс встал и в задумчивости поправил галстук. В душе он ощущал глухую боль, тоску по родителям, по отчому дому, по давно ушедшему детству, но в то же время все с большей четкостью и определенностью им овладела мысль, что путь к прошлому отрезан навсегда и что единственно здесь может быть брошен великий жребий его жизни...

Марта, свежая и разрумянившаяся, ждала его перед раздевалкой. Едва он подъехал, она тотчас прыгнула в теплую машину и забросила коньки на заднее сидение.

Он спросил, каким временем она располагает, не хочет ли посидеть где-нибудь или предпочитает совершить прогулку на машине по окрестностям Берлина. Поспешил он также сообщить и то, что в семь часов у него важная, неотложная деловая встреча, после которой он непременно придет на прием.

Марта бросила на него быстрый недоверчивый взгляд.

— Имейте в виду, что на этом вечере у вас будут серьезные конкуренты!

— Не сомневаюсь, — ответил он. — День ото дня вы становитесь все привлекательней. К тому же у меня нет никакого права сердиться — я сознаю, что продолжаю вести себя отвратительно!

Она улыбнулась, но по всему было видно, что думала она о чем-то другом.

— Да, вы совершенно перестали звонить! Вот мне и пришлось разыскивать вас... Вы слышали, что Галлахера высылают из Германии?

„Ну вот, мои предвидения начинают сбываться!“ — подумал он и ответил с легким вздохом:

— Да, слышал — персона нон грата!

Марта помолчала, потом в порыве откровенности коснулась его руки.

— Не могли бы вы, Вольф, что-нибудь сделать? Быть может, на той встрече, куда вы отправитесь вечером, будет Геринг?

Он вздрогнул едва заметно, но не ответил. Весь поглощенный ритмичным шумом мотора, он не отрывал глаз от шоссе. Несколько дней назад вновь прошел снег, потом приморозило, и от этого на шоссе то здесь, то там поблескивал лед.

Некоторое время они ехали молча, затем Дикс сказал:

— У меня такое чувство, что это распоряжение исходит от Геринга.

— Но почему? — прервала его Марта. — Так ли уж опасен Галлахер? Вы же его знаете. Единственная его вина состоит в том, что он борется за спасение Димитрова!

— Это не так уж мало, — тихо заметил Дикс. — Вы мне не сказали — согласны совершить прогулку или должны вернуться?

Она резко отпрянула в сторону, и он понял, что, видимо, задел ее самолюбие своим вопросом.

— У меня вполне достаточно свободного времени, смотрите, как бы вы не опоздали.

Дикс обернулся и нащупал ее руку, освещенную светом зеленых лампочек приборов.

— Не будьте со мной такой колючей, Марта. Прошу вас. И без того мне тяжело последнее время

Она откинулась на спинку сидения и уставилась взглядом вдаль.

— Не могу вас понять. Вам трудно, одолевают заботы и неприятности, а вы не находите нужным разыскать меня. Неужели так мало я значу для вас. А, может, что-то другое вам мешает?

— Однажды я вам сказал — мы, немцы, не имеем обыкновения делиться служебными невзгодами со своими... близкими.

— Удобная позиция, особенно если у человека совесть недостаточно чиста.

Дикс онемел, пораженный необычной резкостью ее слов.

— Это несправедливо, — сказал он, и в голосе его прозвучали горькие нотки.

— Извините, если оскорбила вас, но в вашей стране меня приводит в ужас растущее число людей, которые высказывают совершенно противоположные суждения об одних и тех же вещах в зависимости от того, кто их слушает.

— Все гораздо сложнее, Марта, чем вы это себе представляете. Как-нибудь я вам это объясню.

— Если к тому времени и мы не станем... персоны нон грата ... кажется, так будет множественное число или, быть может, я ошибаюсь?

Он остановил машину, выключил мотор и обернулся к ней:

— Этого никогда не случится — можете мне поверить... По крайней мере, пока я занимаю этот пост!

— Почти то же вы сказали и о Димитрове. По последним сведениям из Лейпцига его перевели на более строгий режим, не разрешают свиданий, не дают газет и, вообще, никто не знает, что еще может обрушиться на его голову.

Дикс как-то съежился — стало неприятно, что она

заговорила об этом. Он понимал, что Марта захотела встретиться с ним ради Галлахера. Никогда еще она не держалась с Вольфом так холодно и деловито. Он предложил ей сигарету и, когда Марта отказалась, закурил сам, жадно вдыхая дым. Он сознавал, что отсутствие душевной теплоты с ее стороны задевало не только его интересы, связанные с дальними „американскими“ планами. Поведение Марты ранило и мужское самолюбие Дикса, но стремление к ней сейчас он почувствовал особенно остро.

Он осторожно обнял ее и легонько привлек к себе.

— Я так обрадовался, когда вы позвонили, и подумал, что хоть на несколько часов вы вырвете меня из кошмара заседаний и официальнойщины...

Несколько секунд она сидела совершенно неподвижно, потом обернулась к нему и посмотрела прямо в глаза.

— Порвите, Вольф, с этими людьми! Разве вы не видите, куда все идет? Человек не может остаться незапятнанным, особенно занимая ваш пост.

— Легко давать советы, — сухо сказал он, — труднее исполнять.

— Почему? Вы честный человек, видите все... Нужно сделать всего один шаг... Если бы все честные люди Германии были чуточку смелее...

— Получилась бы отличная кровавая баня, а потом установилась бы еще более глубокая тишина!

Он сказал это и тотчас опомнился. Никогда еще он не поверял столь откровенно свои мысли и не заходил так далеко в своей доверии к ней. Лишь на один момент он увлекся красивой, сладостной мечтой — не думая ни о чем, последовать ее совету, но тут же изгнал из сердца эту опасную, расслабляющую волю мысль. Мог ли он с уверенностью почувствовать в Марте опору, могла ли она обещать ему помощь и поддержку своей могущественной родины?

Он взял ее лицо в ладони и нежно поцеловал.

— Все , о чем вы говорили, Марта, прекрасно, но будем реально смотреть на вещи... Считайте, что в тот момент, когда вы говорили, меня не существовало.

Она молчала.

— Другое дело, если бы человек мог рассчитывать на кого-то, воспользоваться поддержкой и участием...

— А Димитров на что рассчитывал? — прервала она его вдруг, резко отстраняясь.

И в тот же миг он понял, что Марта, собственно, не могла предложить ему ничего надежного, что просто она витала в облаках, находясь под впечатлением Димитрова, процесса. Он посмотрел на нее, внезапно охваченный чувством разочарования. Легкая дрожь охватила ее.

— Вам холодно?

— Немножко... Давайте пройдемся.

Они вышли из машины и зашагали по берегу озера — одного из многочисленных озер в окрестностях Берлина. Смеркалось, все тонуло в серо-синей мгле. У самого берега смутно поблескивала тонкая кромка льда, а дальше, простирались черные, неподвижные воды. На противоположной стороне едва виднелась бледно-зеленая полоска соснового леса, далекого и бесплотного, — казалось, в любую минуту она может растаять в надвигающихся сумерках. Было совсем тихо, пусто и дико, но если присмотреться внимательнее, в идеально поставленных оградах, в разбитых на равные квадраты группах деревьев, в крошечных пристанях на просмоленных сваях можно было заметить невидимое, умное присутствие людей, их немалый труд, приложенный умело и старательно к этим, пока еще малообжитым местам.

Дикс окинул все это взглядом, вдохнул знакомый до боли запах воды и мокрых сосновых веток и вдруг ощутил себя частью этой суровой, мрачной природы, и

низкого неба, и молчаливых, неподвижных лесов. Неприметно для себя он стал рассказывать о своем детстве, о родных краях, о своей стране, без которой не мог представить свою дальнейшую жизнь. Говорил с упоением, и ему казалось, что он искрен и верит в каждое свое слово. Наверное, и Марта так же воспринимала эту исповедь, потому что она неожиданно взяла его под руку и прижалась к нему.

Они шагали возле черной воды, а темнота быстро надвигалась. Мрак стремительно заливал все вокруг, оставляя их совсем наедине. Должно быть, поэтому Марта все теснее прижималась к нему, и он чувствовал сквозь пальто каждое движение ее грациозной, стройной фигуры. Они шли не разбирая дороги, забыв о недавнем разговоре, приобщенные к таинственной тишине, покоренные темнотою. Иногда они останавливались и целовались горячо, страстно, но беспокойно, словно не смели до конца отдаться своим чувствам. Дикс понял, что несмотря ни на что Марта продолжает его любить и, возможно, поэтому мечтает видеть его смелым, честным, неустрашимым, но, наверное, она приняла бы и таким, каким он раскрылся ей в этот вечер, — с обычными человеческими слабостями и недостатками. На мгновение перед ним встал вопрос, как поступила бы она, если бы узнала всю правду о его делах и смогла проникнуть в глубины его души? Он испытал тягостное чувство неудовлетворения и поспешил прогнать эту мысль. Вдруг Марта остановилась и с тихим грудным смехом воскликнула:

— Мы сошли с ума... Ты опоздаешь! Сколько времени?

Он привлек ее к себе и осыпал лицо поцелуями.

— Ничего, это не имеет значения... Никакого значения.

Он почувствовал, как ей стало радостно от этих слов,

и сам он ощутил трепет в сердце. И все же она первая овладела собой. Поняв, что нужно идти, Марта прижалась к его груди, посмотрела прямо в глаза и произнесла как-то необычно, властно и очень преданно:

— Я хочу, чтобы после приема мы были опять вместе... Совсем одни. Долго-долго... всю ночь... А ты?

— И я! — ответил он.

По пути в Берлин она сидела рядом с ним, свернувшись в клубочек, положив голову ему на плечо, притихшая и странно сосредоточенная. Время от времени Дикс оборачивался к ней и улыбался. Тогда Марта закрывала глаза и чуть подавалась лицом к нему, словно мысленно целовала.

Они расстались перед посольством, и Дикс пообещал прийти на прием сразу, как только освободится. Потом он вздохнул и отправился к Государственной опере.

20.

И вот опера давно уже окончилась, встреча в ложе премьер-министра — тоже, а он все продолжал сидеть в своем кабинете в расстегнутом пальто, не сняв шарфа.

Он пил — бутылка коньяка стояла перед ним, много курил — в комнате плавали клубы синего дыма. Сейчас он не делал ничего, просто сидел, вскинув брови и уставившись взглядом в полутемный угол... Если бы Толстяк ограничился высокопарными поучениями о музыке Вагнера и ее влиянии на германский дух! Дикс зло усмехнулся, вспомнив потуги Геринга выражаться афористично и остроумно, нелепо подражая Геббельсу.

В сущности, их деловой разговор перемежался суждениями об опере и исполнителях. Все произошло в первом антракте, хотя еще во время увертюры Геринг

наклонился к нему и прошептал сердитым голосом:

— Телеграмма, которой вы крайне легкомысленно позволили выскользнуть из тюрьмы, спутала все наши планы!

Позже, когда закончилось первое действие и они прошли в фойе, Геринг расположился за круглым столом, уставленным всевозможными деликатесами, и, окинув сладострастным взором блюда, сказал:

— Дикс, совет министров оказался в затруднительном положении. Я вынужден был давать объяснения относительно беспорядков возле наших посольств, демонстраций и нот протеста. И знаете, какое желание тогда я испытывал сильнее всего — увидеть вас, да, да, лично вас, с вашей кроткой социал-демократической физиономией, чтобы... Прошу, подайте лимон! — И он указал пухлой белой рукой на другой край стола.

Дикс почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. Он подумал было, что следует немедленно повернуться и уйти, но вместо того взял тарелочку с лимоном и, подавая Герингу, сухо сказал:

— Если вы недовольны мною, прошу дать мне отставку, господин премьер-министр!

Геринг, хищно оскалив зубы, бросил на него молниеносный взгляд.

— Нет, мой дорогой, так не пойдет! Вам придется жариться на огне до последней минуты! Проще всего отойти в сторону, когда становится горячо... Впрочем, вы, Дикс, ничего и не выиграли бы от этого. Когда человек знает слишком много, разумнее всего продолжать игру до конца!

Наступило долгое молчание, потом Дикс чужим голосом спросил, не принял ли совет министров какого-либо конкретного решения.

Геринг, проглотив кусок белого хлеба с осетриной, вытер рот большой крахмальной салфеткой и произнес:

— В ближайшие дни Димитров должен быть доставлен в Берлин!

— В Моабит? — вздрогнул Дикс.

— Почему в Моабит? К вам, в гестапо, — под ваш непосредственный и постоянный контроль... Впрочем, это едва ли имеет какое-либо практическое значение.

Дикс наблюдал за ним с нарастающим чувством смутения:

— С какой целью проводится... перемещение, господин премьер-министр?

— С той же, о которой мы уже говорили в моем кабинете! — ответил Геринг, строго глядя на него. — А все-таки любопытно знать, как он будет держаться теперь... Все чувствуют себя уверенно, когда знают, что с ними ничего не может случиться. — Он отбросил салфетку и сделал несколько шагов по залу. — Как те двое англичан, что отказались приветствовать новую Германию. Пока не получили по заслугам, они держались воинственно и нахально, а потом даже не заявили официального протеста.

Геринг остановился перед Диксом, на его лице на мгновение появилось лукавое выражение.

— Впрочем, все это произошло на ваших глазах. Вы даже высказали тогда свое частное мнение по этому поводу... Не так ли?

Дикс почувствовал, что бледнеет, пораженный подлостью Хеббе

— Догадываюсь, кто вам об этом доложил. Могу себе представить, как это было передано.

Геринг не ответил. Осмелев, Дикс продолжал:

— Я на самом деле считаю, что от подобных действий особой пользы нет.

— Неужели? — протянул с нескрываемой иронией Геринг. — Интересно, давно ли вы такого мнения? Не с тех ли пор, как зачистили в американское посольство и

снюхались с дочерью посла?.. А, может, все дело в тайных встречах в бароном фон Нейратом?.. Только не думайте, что мне неизвестно о его визите к вам и о его гениальной идее направить в Лейпциг иностранных журналистов! Вы ухватились за эту идею, как утопающий за соломинку. Но одного не учли — во время интервью и могла состояться передача телеграммы... Вообще, двойная игра никогда не приносила успеха, Дикс, и вам бы следовало хорошенько это знать!

Дикс слушал, ошеломленный, сознанием того, что дела зашли так непоправимо далеко и что впервые в жизни он совершил столь роковую ошибку.

— Я вновь ставлю вопрос о моей отставке, господин премьер-министр! — промолвил он наконец.

— Ах, глупости! — прервал его грубо Геринг. — Это невозможно. Или, точнее, может произойти при одном непременно условии — если вы предпочтете поменять свой кабинет на Альбрехтштрассе на одиночную камеру в Моабите... Вместо того чтобы разыгрывать здесь оскорбленное самолюбие, потрудитесь придумать что-либо разумное, как выправить положение. Считаю, что для вас еще не все шансы потеряны.

И, счищая пухлыми пальцами кожуру с апельсина, он продолжал разглагольствовать об обледеневшем шоссе, о преданных партии молодых шоферах, об умном использовании тех или иных факторов. Он не говорил ничего определенного, не требовал, не приказывал, но по многозначительности взгляда его запавших глаз, по коротким паузам, недомолвкам, по чуть беспокойному тону Дикс догадывался, какое тайное, жгучее желание скрывалось за этим двусмысленным разговором.

— Сегодня болгарское правительство официально сообщило, что не считает Димитрова и двух его коллег своими гражданами, — закончил Геринг. — Выходит, в

данный момент они являются людьми без подданства, и это обстоятельство никоим образом не следует упускать из вида... Итак, перед вами открывается последняя, я бы сказал, счастливая возможность, Дикс! Не хотелось, чтобы вы меня поняли превратно, но в последнее время вопрос о вашем положении в министерстве возник вновь и притом весьма остро.

Из двери, приоткрытой в ложу, донеслись звуки настраиваемых инструментов. Дикс извинился и сдержанно поклонился. Геринг его не удерживал. Направляясь в ложу, он бросил с едва скрытым нетерпением:

— Идите!.. И действуйте! Все надо устроить самое большее за два дня... И притом окончательно!

Вскоре Дикс очутился на улице и двинулся бесцельно по городу. Сомнений не оставалось, что именно надо устроить окончательно! „Цель остается прежней!“ — сказать точнее и недвусмысленнее не представлялось возможным... Да, цель была та же, а человеку, которому предоставлялось ее осуществить, давался один-единственный шанс, последний шанс. В случае неудачи для него наступал конец: далее его ожидала тюрьма, или, если повезет, лагерь Ораниенбург. Эту дилемму будут уже решать другие и среди них прежде всего Хеббе, штандартенфюрер Хеббе, который, несомненно, займет его место и отдаст приказ о его аресте.

Дикс пришел домой, но, сообразив, что Марта может позвонить сюда, вновь отправился бродить по холодным, мглистым улицам города. Так в конце концов ноги сами довели его до здания гестапо...

„Если вы предпочтете поменять свой кабинет на Альбрехтштрассе на одиночную камеру в Моабите“, — вспомнил он циничную, откровенную угрозу Геринга. Были ли у него силы принять эту альтернативу? Мог ли он хоть на миг представить, что попадет за ту самую

тяжелую железную дверь, за которой всего неделю назад видел Димитрова?

И сразу же в сознании всплыло с неожиданной ясностью все то, что, казалось, лишь мельком он видел в тюремной камере. Вновь перед его глазами появился болгарин в наброшенном на плечи макинтоше — вот он склоняется над этажеркой, потом присаживается к столу. Прядь все так же падает на лоб. Вот берется за очки. Интересно, что делает сейчас Димитров — быть может, не спит, тогда о чем он думает в ночь, когда окончательно решается его судьба?

Дикс горько усмехнулся.. „Вы все още платите дань личной ненависти и затронутому честолюбию, господин премьер-министр, если считаете, что он испугается, когда его повезут по обледенелой дороге! Нет, не доставит он всем нам этого удовольствия, можете быть уверены! Не порадует нас своей слабостью, потому что он опытный актер и умеет держаться на сцене жизни. Что он почувствует в глубине сердца, останется тайной. Только он один будет знать, что совершается там, а внешне останется спокойным и непременно использует и эту возможность для пропаганды своих идей, потому что через смерть шагнет в легенду. Вот уж этого вы с фюрером, господин премьер-министр, никак не могли предвидеть! Да, пожалуй, бессмысленно и разъяснять вам это — еще истолкуете мои слова как выражение симпатии к нему...“

Он вздохнул, подержал в руке пустую бутылку... Что ж, придется подчиниться. Совсем недавно была эта чудесная прогулка по берегу темного озера, была девушка, которую не назовешь ни красивой, ни эффектной, но которая его любит и, вероятно, еще не потеряла надежды быть вместе с ним. Но был там и типично северогерманский пейзаж, и странное чувство соединения самого прекрасного в немецкой стихии с готов-

ностью пожертвовать всем сугубо личным, даже жизнью во имя высших интересов родины. Так не это ли и определяет суть и значимость человека, не это ли должно жить в нем до самого смертного часа!

Несколько секунд Дикс оставался серьезным, пожалуй, даже слегка расчувствовался от возвышенных мыслей. Потом коротко и цинично рассмеялся. „Уж если говорить об актере, так им являешься ты, дорогой мой!— пронеслось у него в голове. — И при этом ты играешь не перед другими, а перед собой, стараешься обмануть самого себя!.. Какой там пейзаж, какие вечные и возвышенные чувства!.. Почему бы не сказать прямо: слова Геринга парализовали тебя, заставили позабыть обо всем на свете, и ты испугался, что тебя могут посчитать нелояльным и уничтожить! Значит, чем глубже ты поймешь это и чем скорее возьмешься за дело, тем проще для тебя будет выполнить поставленную задачу. А уж если ты намерен сердиться и изливать на кого-то свою злобу, то прежде всего тебе следовало бы вспомнить о тех, чью участь сегодня вечером отдали в твои руки. Все твои беды, и личные и служебные, происходят от него — от его силы, его веры, его безграничного обаяния. А если так, то пошло все к дьяволу!“

Дикс тяжело поднялся из кресла, подошел к шкафу, достал большую карту шоссейных дорог Германии и, развернув на бюро, склонился над ней. Нашел Лейпциг, потом Берлин — между ними извивалась тонкая артерия шоссе, по которому нужно было провезти Димитрова не позднее чем через два дня. На миг Диксу пришла в голову невероятная мысль — а если и в самом деле он доставит его невредимым? Если выполнит лишь формальную часть распоряжения Геринга, прикинувшись, что не понял его другого, недоказуемого смысла, подтекста приказа? И его охватило странное волнение, он представил себя сидящим рядом с

шофером фургона и бдительно следящим за дорогой. Но это длилось всего несколько секунд, потом он снова склонился над картой.

И тогда-то ему бросилось в глаза небольшое искривление дороги между Ойчем и Виттенбергом, где дорога пересекает реку, и Дикс вспомнил, что там был старый деревянный мост с расшатанными, прогнившими балками, у которого были поломаны или частично отсутствовали перила... Вот где мог легче всего произойти „несчастный случай“! Совсем нетрудно сделать так, чтобы машина заскользила по обледенелому мосту и, сбив шаткие ненадежные перила, свалилась в реку...

Телефон зазвенел в тишине, и Дикс машинально поднес трубку к уху. В тот же миг он взрогнул и как-то бессознательно поник. С другого конца провода донесся голос Марты:

— Алло, алло, Вольф, это вы? — спрашивала она, искренно обрадовавшись, что, наконец, нашла его.

Дикс молчал — в его груди, казалось, что-то оборвалось, зубы были стиснуты до боли. Постепенно он стал отстранять трубку от уха, и это стоило ему невероятных усилий, будто он преодолевал действие сверхмощной пружины. И в тот самый миг, кто знает, по какой причудливой логике мысли, он вдруг вспомнил слова Марты, сказанные во Фридрихсроде, когда она впервые упомянула перед ним имя Димитрова: „Мне кажется, что у вас много общего с этим болгаринном, Вольф, — та же смелость, когда высказываете непривычное или неподходящее для окружающих мнение.“

Когда он положил трубку, в лице его не оставалось ни единой кровинки, а продолговатый шрам на щеке побелел.

— Вы мне заплатите за это, Хеббе! — прошептал он и опять приник к карте...

Утром Дикс вызвал к себе Манделя, молодого шофера тюремного фургончика, активиста гитлерюгенда. развернул карту и объяснил суть задачи. Чтобы правдиво выглядел объезд по старому мосту, шоссе между Ойчем и Виттенбергом следовало закрыть под видом ремонта. Шофер принял приказ, ничем не выдав своего душевного состояния, — не дрогнув ни единым мускулом, не выразив ни радости, ни гордости за оказанную высокую честь. Дикс подумал было, что парень просто невменяем или напуган, а потому спросил — не боится ли он выполнить приказ.

— Никак нет, господин директор! — Мандель вытянул свою тонкую, нежную шею. Все будет сделано, как вы распорядились.

Дикс немного помолчал, потом невинным тоном, с некоторым сожалением в голосе произнес:

— Да, вот еще что, Мандель. Чтобы сложилось впечатление, будто действительно произошло несчастье, и чтобы никто за границей никогда не усомнился в этом, с вами поедет еще один человек — один ваш начальник, который ничего не знает... Возможно, он погибнет, самое меньшее — он может быть ранен при падении машины в реку. И тем не менее он не должен узнать заранее об этом плане, потому что может испугаться и выскочить, как это сделаете вы в последний момент. Вы понимаете меня, Мандель?

— Так точно, господин директор!

— Хорошо, вы свободны!.. Рассчитываю на вас — имейте в виду, это приказ фюрера.

— Хайль Гитлер!

Едва шофер вышел, Дикс поднял трубку телефона и набрал номер Хеббе.

— Прощу вас зайти ко мне! — сказал он, и голос его был совершенно спокойный и дружелюбный.

Когда Димитров входил в здание тюрьмы после прогулки по тюремному дворику, в темном проходе он столкнулся с Клуге. Старик стоял возле дверей и, казалось, поджидал его.

— Добрый день, Клуге! — поздоровался обрадованный Димитров. — Как жизнь? Вы совсем меня забыли.

Дней десять у него был новый надзиратель — мрачного вида молодой эсэсовец, который сейчас стоял в двух шагах, сердитый и хмурый.

Клуге, заметив коллегу, пришел в замешательство, потом буквально впился своими голубыми глазами в лицо Димитрова. Во взгляде читалась искренняя тревога.

— Бог вас сохрани! — прошептал он взволнованно. — Вас переведут в Берлин.

Димитров посмотрел на Клуге с удивлением, но надзиратель грубо подтолкнул его в плечо:

— Не останавливаться! Запрещено.

И в то же время пронзил Клуге недвусмысленным угрожающим взглядом.

Очутившись в своей камере, Димитров задумался. Правда ли то, что он услышал, и откуда Клуге мог узнать об этом? Но если бы старик не знал всего наверняка, вряд ли он стал бы дожидаться конца прогулки, чтобы прошептать несколько слов с риском быть услышанным эсэсовцем. Димитров вспомнил злобный взгляд, который молодой надзиратель бросил на Клуге, и сердце его тревожно сжалось — ничего хорошего этот взгляд не предвещал.

Некоторое время Димитров размышлял о Клуге с каким-то странным чувством вины и раскаяния. Ему казалось, что он был несправедлив по отношению к старику, обвиняя его в малодушии и отсутствии смелости.

сти... Что-то будет с ним? Не пострадает ли он из-за того, что захотел предупредить его?

Все теперь зависело от планов нацистов. Если судить по некоторым признакам, их намерения выглядели более чем подозрительными, и сообщение Клуге казалось не только правдоподобным, но и вызывало серьезную тревогу...

Сразу же после интервью с журналистами режим Димитрова резко ухудшился. Уже на следующее утро в отверстии в двери появилось мрачное лицо нового надзирателя. На вопрос Димитрова, где Клуге, парень с грубой иронией обронил, что теперь он не скоро будет иметь удовольствие увидеть старика, так как того перевели в женское отделение.

— Могу ли узнать, по какой причине? — спросил спокойно Димитров.

Надзиратель высокомерно поднял подбородок.

— Он был недостаточно подготовлен для разговоров с вами!

— А вы подготовлены? — искренне развеселился Димитров.

Надзиратель ничего не ответил и с шумом захлопнул окошечко.

С этого дня его перестали выводить на прогулку, запретили свидания. Димитров писал записки и жалобы, которые эсэсовец принимал с нескрываемым пренебрежением и куда-то уносил, но ответа, как и на все прочие письма, не было.

На дворе сильно похолодало, и в камере стало еще более сумрачно и сыро. Кашель у Димитрова усилился, в послеобеденные часы он температурил, голова непрерывно болела. Несколько раз он вызывал врача, но Штайнер не приходил. Тогда Димитров стал требовать, чтобы его отвели к директору. И так как молодой надзиратель не считал необходимым входить в камеру,

а лишь открывал окошечко в двери, энергичные требования и протесы Димитрова разносились по всему коридору до тех пор, пока разгневанный эсэсовец не захлопывал окошко.

И все же однажды утром в замочной скважине проскрежетало железо, и на пороге камеры появился пухлый кудрявый директор. Он казался неестественно хмурым — обычно, так смешно и неубедительно выглядят люди с мягким характером, принявшие решение держаться твердо и неумолимо. С театральной строгостью директор спросил, почему Димитров терроризирует своего надзирателя и нарушает порядок в тюрьме.

Димитров спокойно наблюдал за ним.

— Не нахожу достойным отвечать на подобный вопрос, — сказал он наконец. — Уж если кого и терроризируют, то вовсе не вашего надзирателя и не моих соседей по камере... Я хотел бы получить от вас объяснение: на каком основании я лишен права свиданий и прогулок и почему не получаю ответа на десятки писем к официальным лицам и ведомствам?.. Скоро месяц, как я оправдан, но вместо того чтобы меня освободить, со дня на день мой режим ухудшают. На каком основании так обращаются со мной?

Директор вынул платок и принялся вытирать лицо.

— Таково распоряжение.

— Чье? И почему?.. Может быть, потому, что я позволил себе перед двумя журналистами высказать горькие истины о вашей тюрьме?

Глаза директора беспокойно забегали.

— Может быть...

— Однако не я приглашал журналистов и далеко не уверен, что все сообщенное мною увидело белый свет.

— Если бы вы были чуть умнее и дальновиднее, то

смогли бы воспользоваться их визитом, хотя и не вы их приглашали, — загадочно заметил директор.

Димитров нахмурил брови.

— Что вы этим хотите сказать?

Тот неуверенно оглянулся:

— Насколько мне известно, один из них сделал вам предложение. Согласие с вашей стороны могло бы коренным образом изменить положение вещей.

— Ах, вы и в это посвящены! — воскликнул в удивлении Димитров. — Впрочем, вся комедия и была устроена ради этого... — И, глядя на высокий лоб этого явно неумного мужчины, добавил, подчеркивая каждое слово: — Потому, видно, вы и ухудшили условия, чтобы вынудить меня задуматься?

— Никогда не поздно прислушаться к голосу здравого разума! — заметил робко директор. — Кроме того, со своей стороны, я тоже могу вам сделать одно предложение... я как раз собирался пригласить вас по этому поводу... — Он предусмотрительно приблизился к двери, будто собираясь юркнуть в нее. — Из Берлина запрашивают, не согласились бы вы, чтобы вас обменяли на трех немцев, арестованных по обвинению в шпионаже? Если вы готовы на такой обмен...

Увидя, что Димитров набрал полную грудь воздуха, словно собирался выдуть его из камеры, директор осекся и торопливо застучал по двери, чтобы его выпустили. Увидев надзирателя, он вновь взял себя в руки и закончил с нарочитой строгостью:

— Все же советую вам подумать... И предупреждаю — если не перестанете нас беспокоить, буду вынужден поместить вас в карцер!

— Прошу! — подступил к нему, протягивая руки, Димитров. — Я хочу, чтобы вы сделали это немедленно... Ну, господин директор, к чему колебания? Все равно покоя от меня не будет!

Но директор считал благоразумным выскользнуть из камеры — дверь с грохотом захлопнулась.

Следующие два дня все продолжалось по-старому, пока вчера надзиратель впервые за все время не переступил порог камеры и не заявил кислым голосом, что должен отвести Димитрова к дежурному офицеру.

Вальтер встретил его с деланой любезностью, принес извинения за временные неприятности и сообщил, что впредь ему вновь будут разрешены ежедневные получасовые прогулки и встречи с близкими раз в неделю.

— Первое свидание произойдет завтра в 14 часов, — добавил он. — Ваши мать и сестра извещены об этом.

Димитров был искренне изумлен и по дороге в камеру лихорадочно обдумывал неожиданный ход событий. Когда они с надзирателем поворачивали в один из коридоров, за полуприкрытой дверью мелькнул какой-то сухопарый, тощий господин с большими отвислыми ушами и глубоко запавшими серыми глазами. Димитров нахмурился, пытаясь припомнить, кто этот человек; пройдя несколько шагов, он вспомнил, что это Хеббе, один из крупных нацистских чиновников в Берлине, — именно он произнес на процессе скучный четырехчасовой доклад.

„Интересно, что бы мог здесь делать Хеббе? — подумал заинтригованный Димитров. — Имеет ли его прибытие какую-либо связь с внезапным послаблением режима?“

Весь вечер он терялся в догадках, пока утром, после прогулки, не открыл истину.

Сомнения не было — Клуге, конечно, был прав. Все, что происходило вокруг, подтверждало предположение, что их скоро переведут в другое место. И весьма возможно, что этот приказ привез именно Хеббе.

Димитров снова вспомнил глубоко озабоченный

взгляд старого надзирателя и почувствовал новый прилив благодарности и симпатии. Если бы не Клуге, он бы никогда не узнал, что его ожидает. Была ли в том реальная польза — вопрос другой, важно, что этот робкий и деликатный человек бесстрашно поджидал его у темного входа и прошептал пару слов о том, что нацисты, без сомнения, хранили в глубокой тайне... Где же сейчас этот милый старик? Не обрушилось ли на него самое тяжкое испытание, какое может выпасть на долю человека в Германии, — не попал ли он в лапы гестапо?

Тревога вселилась в сердце Димитрова. Он представил себе мрачное подземелье, на дне которого лежит избитый Клуге... Как теперь он оценивает свой поступок? Не сожалеет ли горько о содеянном? Не проклинает ли тот день, когда его послали охранять камеру сорок семь?.. В грустной улыбке дрогнули губы... „Прошу вас, господин Димитров, не вести со мной политических разговоров!“ — вспомнил он его просьбу. Потом на память пришли грубые слова молодого надзирателя: „Он не был подготовлен для разговоров с вами“, — и боль в сердце усилилась.

Он вспомнил полный угрозы взгляд надзирателя, обращенный к Клуге. Этот взгляд и резкая перемена режима более всего и выдавали тайные намерения нацистов, недвусмысленно подсказывали: то, что они собираются предпринять против него и его товарищей, вряд ли будет законным и гуманным... „В ближайшие дни скучать не придется! — подумал Димитров с мрачным юмором. — Если доживем, разумеется, до этих близких дней!“

Он больше не ощущал ни страха, ни того странного безволия, которое охватило его в первые дни после вынесения приговора. Теперь он скорее испытывал глухую ярость от сознания собственной беспомощности перед лицом наступающего зла, от невозможности

бороться, потому что был один, в полной изоляции от всех и вся. И, действительно, на кого он мог опереться, что он мог сделать, чтобы разоблачить нацистов или предотвратить задуманную расправу? Встречи со своими ему явно не дожидаться, даже Клуге — и тот был далеко, хотя он никогда и не помышлял вмешивать его в свои опасные дела; что касается его товарищей, которые, вероятно, разделят с ним горькую участь, то их он уже не видел много дней!..

И вдруг он подумал: все-таки был еще один человек — доктор! Он просто забыл о нем. А Штайнер был, пожалуй, единственным служителем в тюрьме, с кем ему не запретят повидаться и от кого можно узнать что-либо определенное.

Но будет ли польза от такой встречи?

И Димитров, поколебавшись немного, подошел к двери и несколько раз ударил кулаком. Вскоре послышались шаги, и в окошко заглянул молодой надзиратель.

— В чем дело? Опять за старое? — спросил он недовольно.

— Мне нездоровится, — сказал Димитров. — У меня температура и сильные головные боли... Вызовите врача.

Эсэсовец недоверчиво посмотрел на него, открыл было рот чтобы выругаться, но, видимо, вспомнив о новых наставлениях в отношении заключенных болгар, мрачно произнес:

— Ладно доложу.

22.

Не прошло и часа, как Штайнер прибыл. Молча посмотрев на Димитрова, окинул взглядом неприветливую камеру и закурил сигарету.

— Пока ничего угрожающего нет, — сказал он сухо, сдержанно, наверное, все еще помня об их последнем разговоре. — Но выходить на прогулку по такому холоду не рекомендую.

Димитров зябко повел плечами и завернулся в макинтош.

— Жаль, если к утру я заболею.

— Почему?

— У меня свидание. После долгого запрета я снова получил разрешение.

Штайнер посмотрел на него с искренним удивлением, потом опустил голову.

— Bravo! Значит вы были достаточно послушным... В отличие от вашего коллеги Торглера.

— А что с Торглером? — спросил встревоженно Димитров.

— В не знаете?

— Нет.

— Вчера его отправили в концлагерь... Но вы по-прежнему не до конца откровенны со мной, как и тогда — с газетами... Думаю, что я не заслужил такого недоверия.

Димитров, все еще находясь под впечатлением тревожной новости, произнес:

— Доверие завоевывают, доктор... А о Торглере я и в самом деле не знал.

Штайнер убрал стетоскоп и собрался уходить. Вдруг он бросил на Димитрова пристальный взгляд и тихо спросил:

— Вы не боитесь, что наступает и ваша очередь?

Димитров внутренне вздрогнул, но тотчас овладел собой:

— Едва ли! По крайней мере, не сегодня и не завтра, если разрешили свидание... Или вы другого мнения?

Доктор быстро отвел взгляд.

— Нет, почему?..

— А даже если и так, — продолжал, улыбаясь, Димитров, — мне следовало бы радоваться. По-вашему, именно так я и войду в историю!

Лицо Штайнера помрачнело, но злобы на нем не было, скорее какое-то недовольство и нерешительность.

— Помните об этом! — произнес он и, посмотрев на Димитрова долгим взглядом, хотел было еще что-то добавить, но осекся и смущенно пробормотав „Прощайте!“, вышел из камеры.

Димитров с тревогой проводил его взглядом. Штайнер явно знал больше, чем сказал. Все его поведение, и особенно последний взгляд, такой многозначительный и долгий, доказывали это. Димитров подошел к столу, опустился на стул — по всему видно было, что предупреждение Клуге имело серьезные основания и что скорее всего ближайшей ночью их куда-нибудь увезут...

Уже более месяца ожидал он, что среди ночи загремят железной дверью, подымут его с постели и отправят в неизвестном направлении. Он настолько свыкся с этой мыслью, что принимал ее как одну из наиболее вероятных и неотвратимых перспектив своего ближайшего будущего. Но все же неизвестно почему эта мысль жила в его сознании пока что как чисто теоретическая, умозрительная. Впервые с тех пор, как его оправдали, он понял, что эта угроза стала реальной, что где-то далеко отсюда, в огромном, мрачном кабинете уже было принято решение, машина уничтожения пущена на полный ход и ее часы неумолимо и безошибочно отсчитывают время до окончательной развязки.

Начинало смеркаться. Скоро наступит полная темнота, и тогда, после полуночи или перед началом рассвета, его возьмут. Он потянулся к бумагам —

решил привести их в порядок и написать несколько писем. Никто еще ничего не говорил ему, но Димитров чувствовал, что сейчас надо быть готовым ко всему...

Склонившись над бумагами, он не услышал, как открылась дверь, и поднял голову лишь тогда, когда перед ним вырос молодой служитель в белом халате поверх формы. В руках он держал поднос с алюминиевой кружкой, над которой вился легкий парок.

— Что это? — с удивлением спросил Димитров.

— Чай.

— Но я не просил чая.

— Не знаю, меня прислал врач, — ответил молодой санитар, ставя кружку на стол.

Димитров промолчал, и парень вышел. Тогда он поднялся из-за стола и принялся возбужденно шагать по камере... „Гм, странная история! — думал он. — Что за человек этот Штайнер? Неужели после всего, что ему наговорили, у него появилось желание прислать горячий чай? И как можно, работая с нацистами, помогая им в преступных экспериментах над беззащитными людьми, в то же время совершить такой пусть незначительный, но весьма обязывающий поступок? Что это — раскаяние, вызывающий жест или типично профессиональная медицинская забота?“

Димитров потянулся замерзшими пальцами к кружке. Алюминий был горяч — может, даже горячее, чем сама жидкость. И все же он обхватил ладонями кружку и поднес к губам. Теплый, чуть ароматный пар коснулся его лица... „Меня прислал врач“, — услышал он вновь слова санитаря... Врач, который, уходя из камеры, впервые сказал „прощайте“, а не „до свидания“. Что бы это значило — уж не своеобразное ли предупреждение?..

„Удивительный человек! — подумал Димитров. — Ершистый, скрытный, нелегкий для разгадки! И самым

странным в нем было поразительное свойство вызывать в собеседнике возмущение, как бы толкать к поспешным и крайним заключениям о нем самом... Собственно, за внешней грубостью, бесцеремонностью и ненавистью к людям не скрывалась ли другая сущность — совсем иной дух и интеллект?”

Димитров глотнул чай, и по груди разлилась приятная теплота. Была уже ночь, время шло быстро, развязка приближалась. Он ничего не придумал для своего спасения да, наверное, и не смог бы. Впрочем, все это не так уж и важно, думал он, отпивая из кружки. Именно сейчас, когда наступила ночь и надежда на избавление стала совсем ничтожной, он вдруг перестал ощущать себя беспомощным и одиноким, как несколько часов назад. Сколь бы ни были робкими и нерешительными поступки Клуге и Штайнера, как ни мала была практическая польза от этих шагов, они невольно обращали его мысли к тысячам неизвестных людей в дальних и близких странах, которые бросились бы на выручку ему и его товарищам всеми средствами, если бы знали, что им грозит опасность. Были такие люди и в Германии — он знал сотни немецких коммунистов и был уверен, что эти люди с тревогой думают сейчас о них. Разве письма, которые он получал порой, или короткие записки, что находил в воротничках рубашек, не доказывали этого? И уж если здесь, в самой тюрьме, нашлись люди, которые протягивали им руки, то что говорить о действовавших там, на свободе?

Он сжимал в ладонях теплую кружку и видел перед собой рябоватое лицо доктора. Уже давно не испытывал он таких светлых и праздничных чувств, — они возникали в нем всякий раз, стоило ему столкнуться с неожиданным проявлением красоты человеческой души.

Приближалась полночь, когда в доме Доддов раздался резкий звонок телефона. Марта, которая еще не легла, взяла трубку и с удивлением услышала встревоженный голос Пьера.

— Извини, что звоню так поздно, — сказал он — Можно приехать к тебе?.. Да, срочно.

— Разумеется, Пьер... Но что случилось?

— Объясню через несколько минут.

Марта опустила трубку, неприятное предчувствие спазмой сжало горло. Некоторое время она задумчиво стояла у телефонного столика, потом привела себя в порядок и села, с нетерпением стала ждать позднего гостя.

Вместе с ледяным дыханием морозной февральской ночи Пьер принес холодок тревоги и предчувствие надвигающейся опасности. Бессвязно, как никогда путая английские слова, он стал объяснять, что по достоверным сведениям, поступившим к Игорю из нескольких мест, этой ночью или не позднее завтрашнего утра Димитрова должны вывезти из лейцигской тюрьмы и, вероятно, по дороге ликвидировать „при попытке к бегству“. По меньшей мере, его отправят в какой-нибудь отдаленный концлагерь, и тогда никто не узнает, что станет с ним.

Марта почувствовала, как пол уходит из-под ног, руки бессильно опустились. Хотелось обо всем расспросить детально, в подробностях, восстановить все во времени — по часам и минутам, чтобы больше не мучить себя и увериться, что это решение было принято именно в ту ночь, когда они прогуливались по берегу темного озера... Собственно, она тогда почти знала, что они замышляют недоброе. Она почувствовала это не только по тому, что Дикс не пришел на прием, хотя и

обещал, но и по тому, что пережила несколько мучительных, крайне унижительных секунд, когда он, затаив дыхание, малодушно молчал в трубку, а ей по проводу переданся его жалкий страх. И все же тогда еще оставалось место для сомнения. А вот теперь...

— Достоверны ли эти сведения? — обратилась она к Пьеру.

— Как утверждает Игорь, — полностью! У него свои источники информации, я не знаю точно какие, но час назад, когда он меня вызвал, он был очень встревожен. Рассказал мне о своем плане действий, сам пошел к своему послу, а меня направил сюда... Ты должна нам помочь, Марта!

Она удивилась — и тут же догадалась, что он имеет в виду:

— Да, да, разумеется, идем к отцу! Думаю, он еще не спит.

Пьер покачал головой.

— Ты не поняла меня, речь идет не об отце, а о тебе.

— Но, Пьер, ты же знаешь, отец всегда готов...

— Знаю, и все же сейчас нам нужно совсем другое...

Советский посол будет действовать по официальным каналам. В данный момент он, может быть, уже у Нейрата и вручает ему чрезвычайную ноту, которая гласит, что с этого момента трое болгар являются советскими гражданами. А мы с Игорем и с тобой...

— Но если такая нота будет передана, нацисты, пожалуй, не решатся... — прервала его Марта.

— На это не следует рассчитывать. Порой и меньший срок чем два-три часа имеет роковые последствия. Не забывай, пока для гитлеровцев Димитров — человек без подданства. Сегодня болгарское правительство официально заявило, что не считает его гражданином своей страны.

Он опустил руку на ее плечо.

— Поверь, Марта, если бы все не было настолько серьезно, мы бы тебя не побеспокоили. Для судьбы Димитрова, с момента ареста, наступили самые решительные часы. Если удастся спасти его жизнь в эту ночь, в дальнейшем фашистам гораздо труднее будет решиться на задуманное... Так считает и Игорь.

Марта представила веселое, приветливое лицо молодого русского, его рано поседевшие волосы. На последнем приеме у себя в посольстве она видела его во второй раз, — он держался с ней совсем по-другому, чем у французов. Он нашел предлог остаться наедине с нею и признался, что у него тогда сложилось неточное, даже несколько превратное впечатление о ней. Такая откровенность незаметно сблизила их, сняла скованность в отношениях, и в конце приема они почувствовали себя уже друзьями... Сейчас, думая о нем, Марта представила, как он спешит к своему послу... И вдруг она схватила Пьера за руку.

— И все-таки пойдем к отцу... Пошли!

Через минуту они уже входили в уютный кабинет Уильяма Додда. Посол сидел в своем любимом кресле возле торшера и читал книгу.

Марта коротко ввела его в суть событий. Она ожидала, что отец тотчас отбросит книгу и начнет действовать, но он всего лишь вытянул свои длинные ноги и сказал необычайно спокойным тоном:

— Не думаю, чтобы они решились на такое, хотя я не удивился бы, если...

В изумлении Марта отшатнулась.

— И ты говоришь это так спокойно!.. Ты должен что-нибудь предпринять, отец. Не мог бы ты позвонить Герингу?

Теперь Додд с изумлением посмотрел на дочь.

— Или хотя бы Нейрату! — добавила Марта, несколько смущенная его взглядом. — Твой советский

коллега уже у него. Если и ты проявишь озабоченность, они, возможно, задумаются, прежде чем...

— От Нейрата ничего не зависит! — прервал ее отец. — Другие люди вершат дела в этой стране. Но они сейчас так опьянены успехами, что не желают ничего слушать... И, вообще, борьба против насилия зачастую бесполезна. Я бы даже сказал — она вызывает еще большее насилие.

Пьер, который явно старался не вмешиваться, не выдержал:

— Не понимаю, как может так рассуждать демократ, при этом отлично знающий историю.

— Именно потому, что знает ее, — ответил спокойно посол. — Насилие можно уподобить эпидемии чумы — ничто не в состоянии ее остановить, пока она не возьмет определенное число жертв.

Марта почувствовала, что теряет терпение.

— Отец, прошу тебя, сделай что-нибудь! Неужели ты допустишь, чтобы Димитров погиб?

Додд пожал плечами.

— Что можно сделать? Ты сама хорошо знаешь, что они не соблаговолили ответить мне на официальный протест против высылки Галлахера из Германии... Почему бы тебе не обратиться к Диксу? Он мог бы по крайней мере тебя проинформировать...

Лицо Марты вспыхнуло, она опустила голову, потом посмотрела на отца и тихо сказала:

— Я не имею ничего общего с ним.

Наступило короткое неловкое молчание. Несколько ошеломленный, Додд промямлил что-то и потянулся к книге.

— Сожалею.

— Страшно подумать, но, когда через год-два вы решите помочь ему, будет уже поздно! — сказал Пьер, и в голосе его прозвучали строгие, укоризненные нотки. —

Все, кто рассуждает подобно вам, фактически становятся соучастниками... Я уйду, Марта.

Марта от стыда закусил губу... Неужели ее отец и в самом деле останется безучастным? Она вспомнила, как он искренне и не однажды восторгался Димитровым перед ней и другими людьми, и недоумение ее еще более возросло. Опасался ли он дипломатических осложнений или действительно считал, что ничего не может изменить?.. Но какими бы ни были его побуждения, Марта знала одно — что не понимает и не может оправдать его. От этого на душе у нее стало еще тягостнее. Мало того, что Дикс нанес ей такой жестокий удар, теперь она должна краснеть из-за отца!

С виноватым выражением лица она повернулась к Пьеру и вдруг поняла его взгляд. Он смотрел на нее с глубоким сочувствием, словно только сейчас осознал ее слова в адрес Дикса. Тщетно пытался Пьер в эту минуту скрыть свое душевное состояние и стать твердым и деловитым. Это ему не удалось — неожиданно для себя он улыбнулся ей. И эта улыбка подействовала как теплое, дружеское рукопожатие.

В холле Пьер взглянул на свои часы и напряженно наморщил лоб:

— Согласна ли ты помочь?

— Да! — ответила она.

— Хорошо, тогда возьми теплое пальто и топай за мной!

Хмыкнул и словно про себя заметил:

— Посмотрим, столь ли непобедима эта эпидемия чумы!..

24.

Ночь он провел спокойно и, когда на рассвете за ним действительно пришли, молча собрал свои вещи и покинул камеру.

Он все еще находился в плену того странного, невыразимого чувства, которое зародилось в его душе поздней ночью после долгих размышлений и которое вселило в него неясную надежду на спасение. Он знал, кому обязан этим чувством, и, шагая по глухим коридорам тюрьмы, видел лица Клуге и Штайнера, вновь слышал их голоса и с мягкой горечью сожалел, что не успел попрощаться ни с тем, ни с другим так, как ему бы хотелось.

Но когда он оказался на тюремном дворе, где еще густел предрассветный сумрак, и увидел черный фургончик с открытой задней дверцей, его мысли тотчас обрели деловитость. Конечно, он не ожидал никаких чудес, но все же втайне на что-то надеялся. Однако ничего не изменилось, события разворачивались, следуя неумолимой железной логике.

Над входом тускло светила лампа; в ее слабом, желтом мерцании, смешанном с мутным светом утренних сумерек, Димитров различил двух полицейских и человека в штатском, в кожаной каскетке и сапогах.

Привели Танева и Попова, они были еще сонные и зябко поеживались в своих тонких пальто.

Когда все трое заключенных оказались вместе, тот, что был в штатском, подошел к ним, и Димитров узнал его — это был Хеббе.

— Господа, я получил приказ перевести вас в Берлин! — сказал Хеббе. — Так как погода холодная, на вас наденут шубы.

Он дал знак полицейским, и те достали из фургончика три огромным тулупа.

— Кто отдал этот приказ и с какой целью? — спросил Димитров.

— Не могу вам сказать ничего определенного, но предполагаю, что это связано с вашей высылкой.

— Будем надеяться! — подхватил Димитров и

поспешил перевести товарищам объяснение Хеббе.

Танев и Попов оживились, охотно облачились в широкие шубы.

Димитров взял свою, но не надел, а перебросил на руку. Он не ожидал от нацистов подобного шага и немного недоумевал: предположим, их должны застрелить „при попытке к бегству“, зачем тогда наряжать их в такие тяжелые шубы?.. Уголкем глаза он стал наблюдать за Хеббе и заметил, что полицейский чиновник замялся.

— Прошу вас одеться, господин Димитров, — произнес он наконец.

— Благодарю, но мне пока не холодно. Я наброшу шубу внутри машины.

Хеббе нетерпеливо настаивал.

— И все же наденьте! — Он открыл портфель и извлек оттуда какой-то лист бумаги. — В приказе четко сказано, что, учитывая малочисленность охраны, на вас полагается надеть... наручники. И если это сделать сейчас, вы не сможете надеть шубу.

— Какие наручники?! — гневно произнес Димитров. — Вы забываете, что мы оправданы!

Хеббе пожал плечами.

— Я протестую! — повысил голос Димитров. — Мы не убийцы!

— Приказ, господа! — проговорил чиновник. — Вы должны подчиниться.

— Покажите этот приказ!

Хеббе чуточку поколебался, потом подал листок... „По указанию министра внутренних дел... — прочел верхнюю строчку Димитров. Бросив взгляд вниз, он остановился на последней строке: — ...доставить в Берлин, в здание гестапо, на улицу Альбрехтштрассе, где ожидать дальнейших распоряжений... Возлагаю исполнение настоящего приказа...“

Димитров опустил руку. Так вот почему все сохранялось в полной тайне, вот отчего Клуге и Штайнер были так осторожны... Итак, их отправляют в гестапо. И теперь никто не скажет, куда будет лежать их дальнейший путь. Разумеется, это еще вопрос — доберутся ли они вообще до Берлина. Если учесть эти шубы и наручники, — тем более. Скорее всего по дороге их сбросят в пропасть, инсценируя катастрофу на обледенелом шоссе...

Димитров посмотрел на своих товарищей и вдруг почувствовал, как некая невидимая, но плотная стена отделила его от них — он понял все и теперь знал совершенно определенно, что наступавшее утро станет последним утром в их жизни. А они ничего не подозревали, даже выглядели довольными: впервые за все время они могли согреться.

Вскоре двинулись в путь. Кузов машины был разделен на две узких, темных клетки по бортам. В одну вошел Димитров, в другую — Танев, Попов в сопровождении единственного полицейского сели на скамейку позади двухстворчатой дверцы.

В стенке фургончика было сделано небольшое зарешеченное отверстие, и Димитров стал смотреть в него. Мимо проплыли серые, мрачные стены тюрьмы, потом проскрипели массивные ворота, послышались грубые, сонные голоса — здание тюрьмы осталось позади. Постепенно стало светать — в хаосе мутных тоскливых потоков света предметы казались нереальными, словно плавали в пространстве без опоры и связи между собой.

Димитров опустился на узкую скамеечку, положил на колени руки, туго перехваченные железными обручами наручников. Он подчинился — что же еще оставалось! Шесть месяцев провел он в наручниках и сейчас, за несколько часов дороги, они не принесут ему

особого беспокойства. Гораздо сильнее его тревожила мысль о матери и сестре. Он представил, как они идут в темноте к тюрьме, как ждут перед громадными воротами, когда их пустят на свидание, и как тюремщик бездушным голосом объявляет, что свидание отменяется, так как его уже нет в Лейпциге. Они, конечно, спросят, где же он теперь, но представитель тюремных властей, — может быть, им окажется тот отвратительный офицер с короткими кудрявыми волосами — пожмет плечами и промолчит. А мать и сестра поспешно возвратятся в город, обеспокоенные за его судьбу, напуганные и замерзшие, и там примутся за поиски, станут наводить справки, писать. В их души вселится страх за него, но друг другу они не признаются в этом, хотя мать своим вещим сердцем сразу поймет, что задумано черное дело. Как она переживет все это?.. Сколько раз он собирался поведать ей все, что думал о своей жизни — и о прошедших годах, и о будущем. И хотя возможности поговорить по душам почти не представлялось, все равно он считал, что не использовал короткие минуты их встреч, чтобы рассеять тревогу и сомнения матери, вдохнуть в нее веру, убедить, что иным быть он не может и что от нее взял он все самое доброе, чем мерил свою совесть и убежденность...

Видно, так устроена жизнь, что людей, которых мы больше всего любим, мы обходим своим вниманием, принося им одни лишь страдания, а сами так и остаемся для них неузнанными, непонятными, далекими. Разве не был он виновен перед Любой? Что дал он ей за двадцать пять лет совместной жизни, кроме забот, тревог, лишений... Замкнутость, отчужденность и даже подозрения, которые не имел права рассеивать?! Узнала ли она с ним счастье? Едва ли... Всю жизнь он боролся за лучшее будущее людей, а своим, самым дорогим и близким людям, приносил лишь муки, страдания, несчастье...

Машина прибавила скорость, и ее стало немного заносить. Димитров привстал со скамеечки и приник к оконцу. Уже совсем рассвело. Они выехали за город и мчались по пустынному, заснеженному шоссе. Перед глазами расстилалась голая равнина, тонувшая в морозной мгле. По временам из снежной белизны возникали одинокие, точно нарисованные, черные деревья и быстро исчезали, словно их стирали резинкой с листа ватмана. Вскоре дорога приметно стала забирать вверх, равнина как бы опустилась, оставаясь где-то внизу. Все чаще у полотна шоссе начали змеиться овраги с заросшими хилым кустарником склонами, покрытыми нетронутым снегом.

Вот снова машину сильно занесло, и тотчас за стенкой, где находилась кабина, послышался глухой и, как видно, сердитый голос. Димитров прислушался — в кабине разговаривали. Вскоре по тембру голоса он узнал Хеббе, который, должно быть, ругал за что-то шофера... Интересно, как они поступят? Был ли посвящен в тайный замысел только Хеббе?.. Не может быть, чтобы шофер ничего не знал — ведь именно он должен был „произвести“ катастрофу и сбросить машину в пропасть! Чтобы все выглядело вполне правдоподобно, они, вероятно, пожертвуют несчастным полицейским, что сидел сзади, ничего не подозревая. Не потому ли и отравили их в путь со столь немногочисленной охраной, — зачем подвергать смертельной опасности своих людей, если достаточно одной жертвы.

Димитров провожал взглядом мрачные деревья по обрывистым склонам ущелий.....Итак, это случится где-то здесь!“ — подумал он невольно. Прямо скажем, не лучший выбор — за свою бурную, полную опасностей жизнь ему не раз предоставлялась возможность умереть в более достойных и живописных местах... Но человек никогда не выбирает место, где пробьет его смертный

час. Он должен выбирать, как ему прожить жизнь... А Димитров давно сделал свой выбор.

Сейчас он думал о том, что ему не приходится стыдиться своего прошлого, сожалеть о прожитых годах. Да, многое ему пришлось испытать за свой век. Он встречался с умнейшими и вдохновеннейшими людьми своего времени, вместе с ними строил планы прекрасной жизни. Чего же более может пожелать человек от своей столь краткой жизни? Да, он чувствовал себя еще сильным, способным действовать, творить, окрылять; как ему хотелось дожить до другой поры, когда счастливой станет большая часть людей на земле и прежде всего в его маленькой стране, горячо любимой родине. Теперь становилось ясно, что до этого времени не дожить, — здесь, на чужой земле, в этой враждебной стране, где его столько месяцев безуспешно пытались согнуть, сломить, сделает он свой последний вздох: где-то здесь нанесут ему внезапный, подлый смертельный удар. И единственным утешением может послужить лишь то, что умрет он за великое дело, а которое боролся всю жизнь, отдав ему до капли всю свою кровь, всего себя без остатка... Вот и выходит, если поверить словам доктора, — это и есть то самое важное, что он должен сделать!..

Он улыбнулся, вспомнив о Штайнере. Показалось странным, что сейчас он подумал о нем с волнением и искренним сожалением. Жаль, что не придется больше поговорить с ним и с такими, как он, которых еще можно изменить! Жаль, что не будет больше никогда тех маленьких, чудесных праздников, когда воочию видишь, как в темных душах людей появляются первые проблески света и как к далекой цели начинают стремиться даже самые отчаянные, казалось бы неисправимые пессимисты.

Осознав это, он лишь сейчас ощутил леденящее

дыхание смерти, почувствовал, как кровь начинает стынуть в жилах. Нет, нельзя умирать — еще есть ради чего жить: надо сделать еще так много и здесь, и в других странах, на которые уже медленно и властно надвигается мрак фашизма.

Он опять выглянул в оконце и снова увидел глухие, подернутые туманной, морозной дымкой места. Обрывы вдоль пути становились все отвесней, повороты дороги все круче. Что в самом деле могло помешать им исполнить свое намерение? Здесь или там, за этим поворотом или у той — еще более глубокой пропасти! Что изменит ход событий? Остается одно — не дать им повода торжествовать. Надо показать, что ты даже не помышляешь о смерти, презираешь ее, как презирал во время процесса!

Из кабины вновь слышались неясные сердитые голоса, и вдруг машина резко снизила скорость. Лишь сейчас Димитров обратил внимание, что ехали они как-то странно — то начинали стремительно убыстрять ход, то едва-едва ползли, чуть было не останавливаясь. „Может, подыскивают подходящее место“, — решил он, и в этот момент машина окончательно стала.

Хлопнула дверца, обледенелая земля захрустела под чьими-то сапогами, забряцало железо замков, загревели задвижки, и в клетку хлынул свет.

— Вылезай! — грубо скомандовал полицейский.

Димитров лихорадочно соображал. Неужели их хотят застрелить? Зачем тогда эти шубы и наручники?.. Он спрыгнул на землю и огляделся. Они остановились на обочине шоссе, у опушки густой дубравы. Наверное, они находились на самой вершине перевала, так как сразу же за машиной дорога начинала резко опускаться.

Их подвели к кабине, где Хеббе свинчивал крышку с большого блестящего термоса.

— Освободите им руки! — сказал он, не подымая головы от термоса.

На земле, возле него, стояла сумка, в которой виднелись маленькие алюминиевые чашки. Хеббе извлек пробку, присел над сумкой и стал разливать теплую, дымящуюся жидкость по чашечкам. Через минуту, раздав им кофе, он обратился к Димитрову:

— Вот видите, как мы стараемся сделать ваше путешествие приятным.

Димитров посмотрел на него недоверчиво и испытующе.

— Да, вижу! — ответил он, отпивая кофе.

Заметив, что Танев и Попов смотрят на него, не решаясь поднести чашки ко рту, он подошел к ним и тихонько прошептал:

— Пейте! Это не опасно... Хотят нас довести.

— А нас действительно везут в Берлин, чтобы выслать?

— Наверное! Не могут же нас бесконечно держать в тюрьме.

Полицейский предупредительно кашлянул, Димитров бросил на него молниеносный взгляд, и тут неожиданно его внимание привлек шофер — молодой парень с тонкой, красивой шеей, который, отдыхая, стоял чуть поодаль, прислонившись к крылу автомобиля. Раньше Димитрову не приходилось его встречать. От всего его облика веяло мрачным отчаянием, за которым угадывалось глубокое душевное смятение. По тому, как быстро он отвел взгляд и принялся лихорадочно шарить по карманам в поисках сигарет, можно было недвусмысленно судить, какое сильное душевное беспокойство испытывает он сейчас... „Неуравновешенный человек“, — подумал Димитров и невольно подивился самообладанию Хеббе. Неужели

этот скучный, весьма посредственный чиновник обладал талантом незаурядного актера?

Он пристально посмотрел на Хеббе, и смутное подозрение закралось в его душу.

— Я бы полностью согласился с вами, не будь этих поистине необъяснимых предохранительных мер, господин Хеббе, — сказал Димитров, осторожно нащупывая путь к разгадке. — Неужели вы полагаете, что мы решимся на побег во время поездки? Мы не пойдем на это хотя бы потому, чтобы не давать вам повод ликвидировать нас „при попытке к бегству“.

Хеббе нахмурился.

— Впрочем, подобный поступок выглядел бы крайне нелогично, и вам едва ли бы пришло в голову обрядить нас в шубы, будь у вас такое намерение, — продолжал рассуждать непринужденным тоном Димитров. — Совсем другое дело — вариант падения в пропасть...

— Не понимаю, на что вы намекаете! — нервно прервал его Хеббе и стремительно обернулся к шоферу, — на лице его было написано бесконечное удивление и глубокое беспокойство. Димитров с интересом следил за Хеббе. Неужели он все-таки ничего не знает?.. Словно почувствовав любопытство, которое проявлял к нему Димитров, Хеббе глотнул кофе и пробормотал:

— Думаю, что мы никогда не давали вам повода быть недовольным.

Димитров иронично усмехнулся:

— О, это сказано недостаточно веско, господин Хеббе. По крайней мере, если иметь в виду те органы, которые вы представляете... В остальном же у меня действительно нет никаких оснований быть недовольным немецким народом и рабочим классом Германии. И я уверен, что еще вернусь в Германию, но как гость ее будущего рабоче-крестьянского правительства.

Хеббе, который снова уставился на шофера, вздрогнул и холодно заметил:

— Пока я жив, едва ли это произойдет.

— Весь вопрос в том, что никто не знает, сколько он будет жить, господин Хеббе! — ответил с вежливой улыбкой Димитров и отдал ему чашку.

Им снова надели наручники и стали сажать в машину. И в тот момент, когда Димитров занес было ногу на стертую до блеска металлическую ступеньку, он увидел в сотне метров позади от их фургончика три легковых автомобиля, стоявших у обочины шоссе, возле самой опушки леса. Это были машины различных марок — ему сразу же бросилась в глаза знакомая форма черного советского лимузина, потом он узнал большой темно-серый „форд“ и зажатый между ними старенький „ситроен“.

Времени рассматривать все это в подробностях не было ни секунды, — с сильно бьющимся сердцем он шагнул внутрь кузова. Успел лишь шепнуть товарищам: „Не бойтесь ничего, за нами следуют советские люди!“ — и снова оказался в тесной, темной клетке.

И только теперь понял, что, в сущности, произошло. Они были спасены! За ними двигались верные, надежные друзья, которые не допустят, чтобы случилась беда. Он почувствовал, как руки в наручниках бесильно опустились, повиснув, как плети... Неужели это правда? Как же все произошло? Кто им сообщил?.. Выходит, напрасно он боялся, что люди доброй воли ничего не узнают! До них дошла тревожная весть, и они приняли необходимые меры! Что другое могли они предпринять, как не отправиться за ними следом?

Так вот почему их фургончик двигался так неровно — то медленно, то быстро. Шофер явно пытался отделаться от преследователей, но безуспешно. Это, видимо, послужило и причиной частых распрей в кабине.

Должно быть, Хеббе требовал, не взирая на экскорт трех машин, следовать спокойно по намеченному маршруту. А это означало, что он ничего не знает о задуманной операции. Димитров вспомнил, как Хеббе держался, когда пили кофе, вспомнил беспокойные взгляды, которые он то и дело бросал на порядком обескураженного и смущенного шофера. Итак, Хеббе не был посвящен в тайный план. Получается, что готовились пожертвовать и им...

Машина стремительно мчалась к долине, но, сколь бы ни возрастала ее скорость, как бы ни заносило ее на поворотах, Димитров был спокоен, — теперь они уже вырвались из рук своих палачей. И пусть он не видел своих незнакомых, но преданных и верных защитников, зато чувствовал их рядом с собой и знал, как зорко следят они за каждым маневром их мрачного катафалка.

А вот уже началась равнина, — он ощутил это всем своим существом и, выглянув в оконце, увидел бескрайнее поле в серо-молочной мгле. Шум мотора стал тише, и из кабины до слуха Димитрова опять донеслись неясные, сердитые голоса Хеббе и шофера.

Прильнув к окошечку, Димитров пытался рассмотреть, нет ли позади машин, и, хотя ничего не увидел и не услышал шума автомобилей, он знал, что они следуют за ними на неизменном расстоянии и что именно это вызвало очередной спор в кабине за тонкой стенкой.

Вдруг где-то впереди и чуть слева показался неровный ряд верб. Машина резко уменьшила скорость, затем как-то неуверенно рванула вперед, подпрыгивая на неровностях дороги. Все сильнее стал доноситься шум kloкочущей воды, деревья придвинулись вплотную, и он понял, что сейчас они ехали берегом большой реки.

На секунду машина остановилась, потом тронулась снова, но уже не по шоссе, а по каким-то расшатанным,

кривым обледенелым балкам. Димитров привстал на цыпочки и увидел мост — перила были поломаны, кое-где не хватало целых секций, за зияющими проемами бурлила коричневая, вспененная вода.

Они ехали так медленно, что он невольно затаил дыхание. Он понимал, что, наверное, все планы были построены в расчете на этот старый, прогнивший деревянный мост и что, по всей вероятности, здесь их намеревались сбросить в реку. Мороз прошел по коже, когда он представил, как большие шубы начинают тяжелеть от ледяной воды. Он стоял, прижавшись к холодной стенке фургона, — вместе с машиной его подбрасывало, когда колеса перекатывались с одной балки на другую. По шуму воды он догадался, что проехали середину моста и приближались к противоположному берегу.

Внизу, сухо потрескивая, прогремели последние бревна, машину тряхнуло раза два-три, она выехала на шоссе и тотчас остановилась. Несколько секунд стояла полная тишина, потом до слуха Димитрова донеслось мерное гудение, которое постепенно усиливалось, — мимо фургончика, рядом с окошечком, прошел большой серый „форд“ и остановился впереди. Димитрову показалось, что за рулем сидела молоденькая девушка с нежным профилем.

Потом снова слышалось гудение, и мимо фургона, побрякивая и дребезжа, прополз старенький „ситроен“. Он также остановился поблизости.

Последним показался черный лимузин. Но он не стал объезжать тюремную машину, — остановился сзади, чуть сбоку. Через ветровое стекло советского автомобиля Димитров увидел лицо молодого человека с ранней проседью в волосах.

Никто из водителей трех машин не покинул своих мест, вокруг стояла полная тишина, но Димитров знал,

что он и его товарищи окружены чрезвычайно надежной, верной охраной.

Было тихо, лишь вода шумела в реке, и этот ее равномерный, несмолкаемый шум звучал в ушах все сильнее и радостнее, будто гремела на все голоса сама жизнь.

ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ МОСТ
Любен Станев

Редактор болг. текста *Людмил Ангелов*

Художник *Румен Ракшиев*

Худ. редактор *Скарлет Панчева*

Техн. редактор *Донка Алфандари*

Корректор *Светла Иванова*

Формат бумаги 70/90/32 Печ. л. 11,75

Государственная типография „Балкан“



... Наше твердое решение —
Димитров
не должен живым
покинуть Германию...

библиотека
„Болгария“



София Пресс

20 коп.

КЛУБЪТ НА ПЪЛНИТЕ МОТОЦИКЛИСТИ